Как я был красным

Говард Фаст

SHOUT
SHARE
IT

- Говард Фаст
  - Как я был красным
- notes
  - 1

Говард Фаст
Как я был красным
Вступление

Испытываю некоторое затруднение, ибо вынужден обращаться к аудитории, части которой имя автора публикации известно прекрасно и, следовательно, в пространных комментариях оно не нуждается, а части не говорит ровным счетом ничего, и, стало быть, ей ориентиры требуются. Чтобы не раздражать первых и не утомлять вторых, ограничусь главным.

В конце 40-х - начале 50-х годов Говард Фаст был назначен в СССР на должность главного американского писателя современности. "Дорога свободы" и "Последняя граница" на русском издавались и переиздавались, так что суммарный тираж быстро достиг цифры с шестью нулями. Уровень письма здесь был совершенно ни при чем, просто автор - человек прогрессивных воззрений, настоящий борец за мир, более того, - коммунист и большой друг Советского Союза, что и было должным образом отмечено - Международная премия мира.

После XX съезда КПСС Говард Фаст вышел из компартии США и, соответственно, - из американской литературы в ее советском зеркале. Что отнюдь не помешало ему дома продолжить активную писательскую работу. Сейчас Фаст автор примерно полусотни романов; некоторые из них входят в национальные школьные программы, а один - "Спартак" - и вовсе обрел международную

славу, особенно после того, как Стенли Кубрик снял по нему одноименный фильм с Кирком Дугласом в заглавной роли (не поручусь, но кажется, этот роман дошел у нас в свое время до стадии сверки или даже чистых листов, но тут случилось "грехопадение", и проект, естественно, закрылся).

Вот, собственно, и все, что достаточно знать о предыстории. Теперь, столь же лаконично, о самой публикации. Вернее, не о публикации, ибо и название, и мемуарный текст, пусть даже в журнальном варианте, говорят сами за себя, а об авторе - каким он показался мне во время относительно недавней встречи у него дома в Коннектикуте.

Бодрый, энергичный, стремительный, даже несмотря на свои 87 лет, человек. Не выпускает изо рта толстую гаванскую сигару. По-прежнему пишет - еженедельные колонки в местную газету (так полвека назад писал он в "Дейли Уоркер" - газету американских коммунистов), а помимо того - сценарий для фильма на историческую тему.

Человек незлопамятный - обиды на страну, когда-то сделавшую его иконой, потом с пьедестала с грохотом сбросившую, потом благополучно забывшую и в конце концов переставшую существовать, не держит.

Человек, явно преуспевающий, что и неудивительно: книги где только не переводятся, и, к слову сказать, издатели - французские, испанские, немецкие и т. д. - руководствуются, надо полагать, иными соображениями, нежели наши идеологи 50-х годов.

И самое интересное, психологически во всяком случае, - человек, ничего не забывший и ни от чего не отрекшийся. Это подкупает - особенно в сравнении с соотечественниками, массово записывающимися задним числом в тайные, а то и явные диссиденты. Непонятно даже, как в КПСС в свое время приняли, а если уж случился такой промах, отчего не исключили с треском. Не забывший, но научившийся ли? Это вопрос. Судя по некоторым репликам в разговоре, - да. И судя по некоторым фрагментам мемуаров - тоже да. Например, автор теперь считает, что социализм по модели, скажем, советской, не построишь. Раньше, кажется, думал иначе. А судя по другим репликам и, главным образом, по другим фрагментам, - нет, не очень. Например, Говард Фаст до сих пор свято верит в то, что "мы (т. е. коммунисты. - Н. А.) были лучшими людьми в Америке".

Впрочем, трудно судить - хотя бы потому, что Америке этот самый социализм-коммунизм никогда не грозил, и в обозримом будущем такой угрозы не предвидится.

К тому же я вполне могу и ошибаться. И уж тем более не собираюсь кому-либо навязывать свое мнение - читатель сам во

всем разберется.

Николай Анастасьев

Как я был красным
Фрагменты из книги.

Историю выпавшей на мою долю странной судьбы не рассказать без учета того факта, что на протяжении долгих лет я был, по злорадному выражению этой старой зверюги сенатора Джозефа Маккарти, "коммунистом с членским билетом в кармане". Произносил он эти слова с таким видом, будто сам старина Ник - бес и дьявол - перед ним возникал, и явно испытывал при этом такое извращенное наслаждение, что можно было отчетливо ощутить запах серы.

В ходе моей единственной в жизни встречи с этим дремучим монстром я тщетно пытался довести до его сознания некоторые самоочевидные истины американской истории. В ответ он лишь все больше озлоблялся и в конце концов прорычал, что лучше бы мне возвратиться домой и засесть за книгу. Книг получилось больше одной, но об этом позже. Пока же мне хочется описать обстоятельства, приведшие меня в коммунистическое движение, в рядах которого я оставался в течение 12 лет и которое оказало глубокое воздействие на всю мою жизнь.

Полыхнул Пёрл-Харбор, мир был охвачен войной, и Соединенные Штаты встали в ряды тех, кто противостоял Адольфу Гитлеру и странам фашистского лагеря. Шел 1942 год, и, отчаянно торопясь перевести мирную жизнь на военные рельсы, Америка многое шила на живую нитку. Был сформирован, в частности, центр по агитации и пропаганде. Этот поспешно сляпанный центр назвали Департаментом военной информации (сокращенно ДВИ) и решили, что единственное место, где можно найти для него людей, - это Нью-Йорк. Правительство экспроприировало здание "Дженерал моторс" на пересечении Бродвея и 57-й улицы. Первые несколько месяцев после Пёрл-Харбора прошли в лихорадочной перестройке здания под новые нужды, подборе кадров и овладении искусством - если таковое существует - военной пропаганды.

Тем временем Говард Фаст переживал счастливый миг осуществления грез бедного паренька из провинции. Выросший в глухой безнадежной нищете, я погрузился в воды Американской Мечты. О нищете, о трудных, отчаянных годах того, что другие люди называют детством, расскажу потом; а сейчас, в 1942 году, я всячески наслаждался жизнью. Мой третий роман, "Последняя граница"[1], опубликованный годом раньше, критика признала

"шедевром", а новый, только что увидевший свет - "Непобежденные" (в нем описываются самые тяжелые моменты боевых действий Континентальной армии Джорджа Вашингтона) "Тайм", обнаружив в нем параллели с безрадостным настоящим, назвал "лучшей книгой о Второй мировой войне". Скоро мне должно было исполниться 28, и за пять лет до того я женился на голубоглазой, с льняными волосами, красавице Бетт, художнице по профессии и по своей человеческой сути; она и сейчас, 53 года спустя, остается моей женой и спутницей жизни. Первые, самые трудные годы брака мы пережили благополучно и только что внесли 500 долларов за акр земли рядом с Территауном, у места, называвшегося Старая Сонная Лощина.

Заплатив 1000 долларов наличными и взяв в банке кредит еще на восемь, мы выстроили симпатичную, на две комнаты, хижину. Бетт забеременела. Мы обзавелись чудесным щенком - дворняжкой по имени Джинджер. Я кончал писать книгу, которая вышла впоследствии под названием "Гражданин Том Пейн". Участок я расчистил сам, Бетт научилась стряпать и шить всякие вещицы для будущего малыша, передо мною открывалось беспечальное будущее, в котором у нас народится много детей, Бетт будет рисовать, я - писать книги и зарабатывать деньги и славу.

Но разразилась война, и все пошло прахом. Одно за другим: умер отец (мать умерла, когда мне было восемь с половиной лет, отец больше так и не женился), мой брат - самый близкий мне человек - пошел в армию, я ждал призыва. У Бетт случился выкидыш, и она погрузилась в тяжелую депрессию. Джинджер, которого пришлось отдать старшему брату, вскоре сбежал; дом выставлен на продажу; мы переехали в однокомнатную квартиру-студию в Нью-Йорке; Бетт, уверенная, что мой призыв в армию - вопрос максимум нескольких недель и ей вскоре предстоят годы одиночества, записалась в качестве вольнонаемной в корпус связи и принялась делать мультфильмы военного содержания.

Словом - куча пепла, хотя, конечно, не самая высокая по тем драматическим временам. Мы были молоды, здоровы, я имел успех и собирался надеть военную форму. Сегодня, когда живешь под страхом атомной бомбы, вспоминаешь Корею и Вьетнам, когда устал воевать и знаешь, что следующая война вполне может просто уничтожить человеческую расу, - с трудом представляешь те годы, когда страна объединилась в ненависти к нацизму, в твердой убежденности, что под одним небом с Адольфом Гитлером жить нельзя. Тем не менее так было, и мы знали, что будем сражаться, и приняли этот удел, - по крайней мере, огромное большинство из нас.

Заговаривая с женой о том, что лучше бы мне, чем ждать повестки, вступить вслед за братом в армию добровольно, я всякий раз сталкивался с энергичным и твердым отпором: ею руководила чисто женская надежда на то, что на призывном пункте обо мне "забудут". Я метался, не находил себе места, целыми неделями расхаживал по улицам Нью-Йорка, заходя отдохнуть в кинотеатры, и с завистью разглядывал прохожих, мужчин и женщин в военной форме. Однажды, дело было в середине дня, я столкнулся с Луисом Антермайером, и эта встреча полностью перевернула мою жизнь.

Луис отлично понимал мое состояние; сам он предложил свои услуги Департаменту военной информации, где готов был служить в любом качестве. Ему выделили стол, и он как раз сочинял какую-то пропагандистскую брошюру. Луиса такая работа явно устраивала, поскольку из призывного возраста он вышел. Он предложил мне заняться тем же, не сомневаясь, что ДВИ я пригожусь.

- А какой в этом смысл? - спросил я. - Кому нужны эти пропагандистские брошюры? Кто будет их читать? Да и что в них писать, что нацизм это зло? Ободрять людей тем, что когда-нибудь американские войска высадятся в Европе и с Гитлером будет покончено?

Луис на это спокойно ответствовал, что таково решение правительства, и он с ним согласен. Возможно, брошюры переведут на языки оккупированных европейских стран и будут разбрасывать, наподобие листовок, с самолетов. Меня он ни в чем не убедил, тогда я ничуть не сомневался в полной бессмысленности этой затеи - что ни скажи, разве это хоть в малейшей степени повлияет на судьбы оккупированной Европы? Но на душе у меня было тускло. Уповая на то, что призыв не за горами, я двинулся-таки вслед за Луисом в ДВИ, где меня приняли с распростертыми объятиями, через два дня зачислили в штат, выделили письменный стол, машинку и велели написать брошюру об Американской революции. Моя тема - ведь именно ей посвящен роман "Непобежденные". Иное дело, что у меня не было ни малейшего представления, какой толк будет от этой брошюры. Чистая лабуда - так мне тогда казалось. Бетт я заявил, что готов бросить эту службу в любой момент.

Она придерживалась иного мнения: даже если брошюра эта действительно - лабуда, то так будет не всегда, просто ДВИ нужно время, чтобы определиться в своих задачах. Я вынужден был с ней согласиться. Мой стол был на самом верху здания; несколькими этажами ниже располагался кабинет Элмера Дэвиса, только что назначенного начальником Департамента. Когда-то он служил

корреспондентом в "Нью-Йорк таймс", потом стал радиокомментатором, добившись в этом качестве широкой известности. С собою он привел в ДВИ Джозефа Барнса, талантливого и уважаемого ветерана-газетчика. Еще одним в комнате стал Джон Хаусмен, ранее успешный продюсер.

На каком-то совещании зашла речь о том, что нужны новые люди. Хаусмен спросил, какие именно, на что Дэвис с Барнсом ответили: те, кто владеет ясным, точным стилем, люди образованные и в то же время умеющие изъясняться не заумно.

Выслушав это, Хаусмен вспомнил, что только что прочел верстку книги под названием "Гражданин Том Пейн", это прозрачная, насыщенная проза, и принадлежит она перу какого-то малого по имени Говард Фаст. И сколько же лет этому малому? 27 или 28. А как его найти? А его и искать не надо, он здесь, на верхнем этаже, пишет брошюру об Американской революции. А разве остались люди, которые еще не сообразили, что сейчас идет Вторая мировая, а не Война за независимость? Несколько минут спустя после этого разговора ко мне подошел шеф отдела брошюр и велел спуститься к Элмеру Дэвису, на этаж, где располагались вещательные службы, также входившие в ДВИ.

Никогда не забуду, как шел по коридорам, где снизу доверху теснились бобины; видел я их впервые, осознавая с некоторым благоговением, что не благотворительностью занимаются здесь: это самое сердце Голоса Америки, вещавшего по договоренности с англичанами на частотах Би-Би-Си. Внезапно я почувствовал, что хочу здесь работать, хочу быть частью всего этого - вокруг снуют люди, многие из них одеты в военную форму, армейскую и флотскую, на дверях комнат-клетушек надписи: Французская служба, Немецкая, Датская, Хорватская - хорваты, где-то я о них слышал, но кто они такие? - а внутри этих клетушек другие люди - кое-кто с бородами, старые и молодые, есть и женщины весьма экзотического вида, - скрипят перьями, стучат на машинках, брызжут энергией. Это что же, и есть беженцы? - подумалось мне. Беженцы из гитлеровской Германии представлялись тогда романтическими фигурами. Под стрекот машинок, заглушаемый хриплыми командами по внутренней радиосвязи, люди переговаривались на десятке различных языков - и все это происходило в здании, где я провел две недели, потея над брошюрой об Американской революции.

В кабинете Элмера Дэвиса, помимо хозяина, были Барнс и Хаусмен. Все трое сверлили меня суровыми, подозрительными взглядами, словно я был насекомым, пришпиленным булавкой.

- Так вы и есть Фаст? - осведомился Элмер.

Разумеется, никакой суровости и настороженности в их

взглядах не было, просто мне было страшно и неуютно - я был уверен, что меня собираются уволить за какой-нибудь ляп в брошюре, которую им, должно быть, показали как свидетельство моей профнепригодности. Как сейчас помню, хоть и не в деталях, последовавший разговор. Джек Хаусмен, мой ангел-хранитель, открывший мне доступ в этот мир, начал с описания того, что для простоты называл Би-Би-Си: как удалось договориться о совместной работе с англичанами и для чего все это дело затеяно. Затем инициативу взял в свои руки Элмер Дэвис:

- Вот почему вы здесь оказались, Фаст. Джек говорит, что вы умеете писать.

Сначала они, все трое, стояли. Потом, как по команде, сели. Но мне присесть никто не предложил, так что я продолжал стоять. Они по-прежнему не сводили с меня глаз, словно во мне и впрямь было нечто диковинное. На самом деле ничего диковинного, конечно, не было. Росту - пять футов десять с половиной дюймов, пышная в ту пору шевелюра, круглые щеки, что, надо сказать, всегда доставляло мне немалые неудобства, ибо, стоило хоть чуть-чуть смутиться, как они заливались краской. Портрет завершали карие глаза и толстые очки в роговой оправе.

- Вы поняли, что я имею в виду? - послышался голос Дэвиса.

Я покачал головой.

- Он хочет сказать, - добродушно пояснил Хаусмен, - что вам предлагается ежедневно делать 15-минутную передачу на Би-Би-Си.

Я снова покачал головой. Если бы я расцепил ладони, видно было бы, что дрожат они, как листья на ветру. Меня не увольняют. Дело обстоит еще хуже.

- Ничего не получится, - сказал я.

- Это еще почему?

- Я просто не знаю этой работы. Никогда не писал для радио, никогда не работал в газете.

- А вашей анкетой никто и не интересуется, - сказал Барнс. - Мистер Хаусмен утверждает, что вы пишете хорошо и просто и что у вас есть политическое чутье. От вас требуется пятнадцатиминутная передача, в которой людям в оккупированной Европе рассказывалось бы, что происходит на войне, как действуют наши части и каковы надежды на будущее. Мы хотим, чтобы этот рассказ был прямым и честным, никаких соплей. И ничего придумывать не надо. В вашем распоряжении примерно 20 дикторов, каждый день вы будете выбирать трех - на англоязычные страны. Остальные будут работать над переводами.

- Все равно ничего не получится, - взмолился я. - Не сегодня-

завтра меня призовут.

- Элмер Дэвис подошел, сдернул с меня очки и, пристально всмотревшись, сказал:

- Правым глазом вы фактически ничего не видите, так ведь?

- Отнюдь, - запротестовал я, - все отлично вижу.

- Вас не призовут, - сказал Элмер.

- Ну а если я запорю дело?

- Дадим вам неделю, если не справитесь - выгоним.

- А призовут, - утешил меня Барнс, - тоже ничего страшного, будете приходить на работу в форме. Если, конечно, вас не уволят до этого.

Меня не уволили. Недели перетекали в месяцы, а меня все не увольняли.

- Доброе утро, вы слушаете Голос Америки...

- Buon giorno...

- Guten morgen...

- Bonjour... - Раздавалось это слово, и становилось ясно, что миллионы французов, немцев, итальянцев, приглушив звук приемников, услышат сейчас то, что я написал: "Доброе утро, вы слушаете Голос Америки. Обстановка на фронтах..." Даже сейчас, сорок восемь лет спустя, в ушах моих звучит эта чудесная фраза, а глаза наполняются слезами: это Голос Америки; голос человеческой надежды и спасения; это голос моей прекрасной, замечательной страны, которая расправится с фашизмом и перестроит мир. Сомнениями в ту пору мы не мучались, никто даже не задумывался над тем, что принесут ближайшие годы. В то время мы просто гордились своей великой и во всех отношениях превосходной страной, так гордились, что нынешнему читателю этого не понять, как бы красноречив я ни был.

С другой стороны, сам я чувствовал себя отнюдь не превосходно. До того как поступить на эту службу, я почти не пил; теперь выяснилось, что, если в шесть вечера, совершенно вымотавшись после целого дня работы, не сделать перерыва и не заскочить в бар напротив, где за бокалом мартини встречается народ из ДВИ, в кабинет можно не возвращаться. А ведь моего дела за меня никто не сделает. И так каждый день. Однажды, "взбодрившись" таким образом, я вернулся на службу, и как раз во-время: из Вашингтона звонил помощник государственного секретаря. По его словам, свой очередной приказ Сталин целиком посвятил беззаветному мужеству некоего Ивана Ивановича, и в этой связи президент Рузвельт считает, что и Голос Америки должен отметить его доблесть. Было 6 вечера; выходит, вся дневная работа коту под хвост, надо писать новый сценарий - про Ивана Ивановича. После семи меня начнут терзать переводчики.

В девять все они столпятся у меня в кабинете, кляня на чем свет стоит на семи языках и выдергивая листы с текстом прямо из машинки. Но ведь ко мне лично обращается Рузвельт, президент Соединенных Штатов и Верховный Главнкомандующий Вооруженными силами страны. Поэтому - вперед! Разумеется, президент Рузвельт знал, что "Иван Иванович" - просто русский солдат, точно так же, как "Джи-Ай" - солдат американский; думаю, он исходил из того, что и помощник госсекретаря это знает и что 15 минут эфира будут посвящены доблести русской пехоты, которая, сражаясь с нацистами до последнего, вполне заслуживала специальной передачи. Но помощник этого не знал; не знал и я, а в ответ на мою просьбу выяснить, кто же такой этот Иван Иванович, какова его биография и все такое прочее, сослался на занятость. Минута шла за минутой. Уже на пороге я остановил свою намаявшуюся за день секретаршу (выпускницу Беннингтона, между прочим) и велел ей звонить в газеты, ничиная с "Нью Йорк таймс", а сам начал накручивать телефоны Генштаба в Вашингтоне и Управления по связи с общественностью, чтобы выудить хоть какие-нибудь сведения об Иване Ивановиче. Тем же по моей просьбе занимались ребята из службы оперативных новостей - они прочесывали картотеку.

Ничего. Абсолютно ничего. Сегодня-то мы, конечно, поднаторели, но тогда были чистой деревенщиной, для которой страна и мир заканчивались в двадцати милях от околицы. Я позвонил в русское посольство. Там мне ответили, что тут какая-то ошибка: либо до, либо после имени-отчества должно быть что-то еще. Появилась с нерадостной новостью моя выпускница Беннингтона: в газетах ничего не знают. Никто, нигде и ничего о нем не слышал, только в "Таймс" кто-то предположил, что "Иванович" это отчество. Я велел секретарше снова звонить в русское посольство, но там уже никто не ответил. Не может быть, подумал я, что у них нормированный рабочий день, но она подтвердила: если нет ничего экстраординарного, они закрываются. Я позвонил капитану Барретту из военной разведки - он всегда поражал меня готовностью ответить на любой вопрос. На сей раз, однако, Барретт лишь посоветовал обратиться в местное представительство русского информационного агентства. Я позвонил в ТАСС, и только тут выяснилось, что Иван Иванович - это советский Джи-Ай. В восемь вечера я принялся сочинять свой панегирик русской пехоте.

В войне постепенно наступал перелом. Американские войска вели боевые действия на островах Тихого океана, и штаб ВМФ послал ко мне какого-то капитана, который с картами в руках

объяснил смысл операции в южной его части. Дважды в неделю я просматривал военную хронику, чтобы мои обращения к европейским слушателям совпадали с реальным положением дел; иногда это были трофейные немецкие или итальянские пленки. Целыми днями я жил войной и в конце концов возненавидел ее и все, что с ней связано. После передачи в два утра все мы - авторы текстов, дикторы, технический персонал, в том числе и наши коллеги - беженцы из оккупированной Европы - часами обсуждали происходящее.

К тому времени я сильно переменился, что объяснялось возросшим чувством уверенности в себе. Я знал, что от меня требуется. И делал свое дело хорошо. Ни у Барнса, ни у Дэвиса претензий ко мне не было. Положение позволяло мне быть в курсе того, что происходит на различных театрах войны; мне не приходилось бесконечно мотаться в поисках информации самому - ее поставляли люди из Госдепартамента и военных штабов, а со временем - ребята из отдела военных новостей таких газет, как "Нью-Йорк таймс", "Нью-Йорк геральд трибюн", "Вашингтон пост". Я чувствовал себя чрезвычайно польщенным: ведь всего десять лет назад я бегал из одной редакции в другую в поисках любой работы.

В какой-то момент до меня дошел слух, что мы сооружаем радиостанцию в Северной Африке, которая, работая на средних волнах, будет передавать сигнал достаточно мощный, чтобы его принимали на обычном радио в оккупированных европейских странах. Я ничуть не сомневался, что мне предложат там такую же работу, как и в Нью-Йорке, даже начал прощупывать Джона Хаусмена на предмет, не найдется ли там работы для Бетт. Она, правда, снова была беременна, но ведь родить можно и в армейском госпитале. Во всяком случае она была к этому готова. В структуре североафриканского радио предполагался отдел брошюр, Бетт - замечательный оформитель, так что дело ей всегда найдется; я же предвкушал новые приключения в Европе. При всей ненависти к войне мне по-прежнему хотелось быть в самом ее пекле.

Насколько я помню, Элмер Дэвис отправился в Северную Африку, а в Нью-Йорке руководителем радиослужб был назначен Луис Г. Коэн, славный здоровяк с тихим голосом, опытный и уважаемый администратор и продюсер радиопрограмм. Подобно многим руководителям ДВИ, он оставил высокооплачиваемую работу и стал трудиться у нас за очень скромные деньги. Однажды, это было в начале января 1944 года, он попросил меня зайти, как только закончу последний новостной блок.

Коэн встретил меня на пороге, смущенно поздоровался и

указал на кресло. Сразу после этой встречи я сделал запись, так что могу воспроизвести наш разговор более или менее точно. Он начал с последней сводки из Северной Африки.

- Вещать начнем через десять дней, - сказал он, - тогда же закроем американскую службу на частотах Би-Би-Си, вернем с благодарностью англичанам их четыре часа, потом, может, небольшой банкет устроим. После этого ваша нынешняя служба будет закончена, но это не значит, что вы уходите из Департамента военной информации.

Я улыбнулся, кивнул и спросил, переводят ли меня в Северную Африку.

- Нет.

- Нет? - мне показалось, что я ослышался. - Тогда что же я буду делать?

- Здесь работать, - безрадостно ответил он.

- Как это здесь, ведь радиовещание прекращается?

- Мы будем заниматься печатной пропагандой.

- Листовки?

- Листовки, брошюры.

- Это не для меня, - решительно заявил я. - Меня готовили для работы на средних волнах, и работать я должен там. Вы представляете, сколько денег потрачено на мою подготовку? Зачем же выбрасывать их на ветер? Вы ведь не кота в мешке покупаете, знаете, на что я способен. Элмеру Дэвису об этих планах известно?

- Коэн кивнул.

- И он готов отказаться от моих услуг? Ни за что в жизни не поверю.

- Он ничего не может сделать. И я тоже.

- Слушайте, о чем, черт возьми, речь?

- Чтобы отправиться за океан в качестве гражданского работника нашей службы, нужен паспорт. Госдепартамент не выдаст его вам.

- Ушам своим не верю. Я ведь общаюсь с ними каждую неделю. И они звонят мне по разным поводам. Так в чем проблема?

Слова давались Коэну с явным трудом. Он с нескрываемым сожалением сообщил мне, что Федеральное бюро расследований запретило Госдепартаменту выдавать мне заграничный паспорт на том основании, что я либо являюсь членом компартии, либо симпатизирую коммунистам, поддерживая с ними тесные отношения.

- Но вы же знаете, что я не коммунист, - сказал я. - Посмотрите мою анкету, там есть виза Мойера (в то время Д. А.

Мойер был исполнительным директором и главным ревизором Гражданских служб США). Меня проверяли самым тщательным образом. У меня есть допуск номер один, и вам об этом известно. У меня есть допуск ко всем документам военной и флотской разведки.

- Да, это мне известно, - согласился Коэн.

- Ну так как же я могу быть коммунистом?

- Говард, - наклонился ко мне Коэн, - успокойтесь и выслушайте меня. Никто вас с работы не гонит. Вы остаетесь у нас. Просто в настоящий момент заокеанские назначения... э-э... как бы сказать... дело чрезвычайно тонкое. Возможно, со временем ситуация изменится. А пока вы поработаете в отделе публикаций...

- Чрезвычайно тонкое! И вы мне это говорите после того, как я столько времени проработал здесь?! Да и чем я буду заниматься в отделе публикаций? Писать дурацкие брошюры и потихоньку прокисать здесь? Вы что, сами не видите, какой это идиотизм? Сегодня я любимец Рузвельта, а завтра - коммунистический агент? Нет, так дело не пойдет.

- Помолчите немного и послушайте, - Коэн порылся в какой-то папке у себя на столе и достал лист бумаги. - Слушайте! Я вас в этом не обвиняю. И Элмер Дэвис тоже. Это исходит от Эдгара Гувера и ФБР. - Он зачитал имена четырех дикторов из нашего, английского пула и еще трех - из службы новостей на венгерском, немецком и испанском. - По сведениям Гувера, все это активные члены компартии.

- Насчет венгра это была для меня не новость. У нас даже шутили, что при замещении этой вакансии выбор небогатый - между коммунистом и наци. Что касается других, то подозрения, конечно, могли возникнуть, но я просто об этом не думал. Плевать мне на то, коммунисты они или нет; это здравомыслящие люди, они понимают, каковы ставки в этой войне, и позиция у них всегда конструктивная. Что же касается меня, то да, за все время своей службы в ДВИ я неизменно отказывался участвовать в антисоветской или антикоммунистической пропаганде. Хотя давление было, и исходило оно не от Дэвиса, Барнса или Хаусмена, а от группы парней, работавших на коротких волнах, - они просто помешались на своем антикоммунизме: постоянно интриговали, сколачивали группы и группки; до меня доходили слухи и сплетни, а иногда и официальные сообщения от одного из правительств в изгнании, работавшего в Лондоне. Все это - а ведь и то, и другое, и третье было в основном антисоветского содержания - я в своих передачах не использовал, ибо считал, что Советский Союз, самый мощный из наших союзников, платит

слишком большую цену за победу над фашистами. Такая моя позиция не могла остаться незамеченной.

- Как уже говорилось, я гордился и даже кичился своей работой - для человека моего возраста и происхождения это было естественно. Для нас Вторая мировая война являла собой крестовый поход против зла, и мы участвовали в этом походе, испытывая чувство почти религиозное. Работая в ДВИ, я никогда не скрывал своих мнений. Однажды к нам зашел молодой Артур Миллер и весь вечер убеждал, что исторический материализм - единственный путь к правдивой литературе. Тогда это произвело на меня впечатление, и на следующий день за обедом я сам заговорил на эту тему. За столом сидело шестеро. Начался спор, один из собеседников набросился на Миллера и на меня - коммунисты, мол, проклятые. Был Миллер коммунистом или нет, понятия не имею, но, сказал я, если он коммунист, то и я коммунист, и ничего дурного в этом не вижу. Это было на меня похоже - говорить, не заботясь о возможных последствиях. Так что не могу утверждать, будто слова Коэна так уж меня поразили; я был возмущен, раздражен, но не поражен и сказал ему: либо меня посылают в Северную Африку, либо я ухожу.

- Да не надо вам никуда уходить, - ответил Коэн. - Дэвис того же мнения. Вам тут найдется серьезная работа.

- Брошюры? И речи быть не может.

- В прошлом месяце, - сказал Коэн, - мы сбросили на Европу миллион листовок. Это серьезное дело.

- Возможно. Но не мое. Если нет возможности послать меня за океан в качестве работника ДВИ, что ж, придется поискать что-нибудь другое. У меня просто нет иного выхода.

- Вы мне окажете личное одолжение, если останетесь. Да не только мне - всем нам. - Он почти умолял меня. Полагаю, уже тогда начиналась "охота на ведьм" - не только в Департаменте военной информации, но и в Департаменте стратегических служб, впоследствии преобразованном в ЦРУ, а также в военной и флотской разведках, - охота на ведьм, которая медленно, но верно перерастет в страх, преследовавший Америку на протяжении десяти лет. Впоследствии эти годы назовут периодом маккартизма. Мне кажется, Дэвис и Коэн рассчитывали в своей организации как-то этому безумию противостоять, о чем свидетельствует поведение последнего в разговоре со мной. Но тогда я был слишком зол, чтобы беспристрастно оценить ситуацию.

Неделю спустя я получил следующее послание:

Соединенные Штаты Америки

Департамент Военной Информации
224 Уэст, 57 улица,
Нью-Йорк, 19, штат Нью-Йорк
21 января 1944 г.
Г-ну Говарду Фасту
100, Уэст, 59 улица
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк

Дорогой Говард,

мне чрезвычайно тяжело писать Вам это письмо. Увы, это одна из неприятных обязанностей, которые накладывает на меня моя нынешняя должность. Отставка, даже и в полном соответствии с Вашим пожеланием, - это совсем не то, чего нам хотелось бы.

Небольшим утешением служит то, что даже я, человек в Департаменте новый, могу сказать, как отлично Вы поработали на благо нашей страны, ДВИ и, особенно радиослужбы. Ваша деятельность всегда была исключительно продуктивной и яркой, а результат ее таков, какого и можно ожидать от писателя Вашего калибра. Особо следует отметить Ваше искреннее стремление, не покладая рук и далее работать во имя достижения окончательной победы над противником.

Прошу принять мои искренние слова признательности, к которым присоединяются мистер Дэвис, мистер Шервуд, мистер Барнс, мистер Хаусмен и многие другие коллеги, высоко ценящие Вашу откровенность и Ваши успехи.

С уважением,
Луис С. Коэн, руководитель радиопрограмм.

Десять дней спустя я сложил книги и бумаги, которые мне хотелось сохранить, и в последний раз вышел из своего кабинета. Впервые я переступил его порог 10 декабря 1942 года. Последним был день 1 февраля 1944-года.

Не хотелось, чтобы создалось впечатление, будто все это время я работал в Департаменте военной информации, даже не подозревая, что среди моих коллег есть члены компартии. Их не могло не быть, ибо именно коммунисты лучше других разбирались в мировой политике и к тому же наделены были чувством патриотизма, в проявлениях которого доходили даже до смешного. Нелегко представить себе задачу для нынешнего историка более трудную, нежели описание борьбы компартии на протяжении 30 - 50-х годов, ибо сразу по окончании Второй

мировой войны американские правители развернули гигантскую кампанию клеветы на коммунизм, воспитывая в ненависти к нему миллионы людей и нанимая для выполнения этой задачи бессчетное количество журналистов и вообще пишущих людей - чтобы достучаться до каждого. Поэтому в попытках объективно и правдиво написать об американском коммунистическом движении сталкиваешься с необычной проблемой: решаема ли она вообще, учитывая эти обстоятельства? Не знаю. Давно уже я утратил веру в чью-либо объективность, в том числе и собственную. Пожалуй, произошло это через пять лет после отставки из ДВИ, когда я комментировал судебный процесс над одиннадцатью коммунистическими лидерами, обвиненными в покушении на насильственное свержение существующего строя. Помню, стою я в большом мраморном вестибюле здания суда в Нью-Йорке на Фоли-сквер, беседую с одним из адвокатов защиты, здоровяком-ирландцем из Филадельфии, а мимо проходит Говард Рашмор. Тогда он работал в "Нью-Йорк джорнэл американ" и был, наверное, коренником в херстовской упряжке борцов с красными и профессиональных антикоммунистов.

Кивнув в его сторону, я сказал адвокату:

- Знаете, кто это? Это сукин сын Говард Рашмор.

На что адвокат ответил:

- Да бросьте вы, Говард, вы только потому ненавидите его, что он - *их* сукин сын. Если бы он был *вашим* сукиным сыном, вы бы его цветами забросали.

По-моему, ни до того, ни после не слышал я в своей жизни слов, которые оказали бы на меня столь сильное воздействие, и, сочиняя эти мемуары, я стараюсь постоянно держать их в памяти.

Я вовсе не утверждаю, будто коммунисты из ДВИ - невинные овечки, просто тогда мне было совершенно все равно, являются ли люди, с которыми я разговариваю и работаю, коммунистами или не являются; и, уж конечно, не были они в моих глазах потусторонними существами. Я родился в 1914 году, а в этом поколении не было человека хоть с единой извилиной в мозгу и хоть с зачаточным общественным самосознанием, который бы взрослел, не ведая о существовании коммунизма и коммунистической партии.

Наша семья всегда жила в бедности, но при жизни матери мы, дети, никогда не отдавали себе отчета в том, что мы - бедняки. Мой отец, Барни Фаст, работал всю свою жизнь. Он родился в 1869 году в городке Фастов на Украине; в Америку попал девяти лет от роду, вместе со старшим братом Эдвардом. Эмиграция переименовала Фастов в Фаст, дала эту фамилию

отцу, и она прижилась. Четырнадцати лет отец стал подручным горнового; здесь, в открытых печах, придавали форму сварочной стали, которая тогда широко использовалась в строительном деле; потом технология изменилась, он стал кондуктором одного из последних в городе фуникулеров. Далее - оловянная фабрика, и наконец - швейная мастерская, где он служил закройщиком. Никогда больше сорока долларов в неделю отец не зарабатывал. Это был славный и добрый человек, джентльмен в истинном смысле этого слова, но смерть жены выбила его из колеи. Я знаю, что его любили несколько женщин, но больше он так и не женился. Женись он, и моя жизнь, вполне возможно, сложилась бы иначе, а так мы с братом с утра до вечера были предоставлены самим себе, никто за нами не присматривал, никто не кормил.

Годы, последовавшие за смертью матери, это годы нищеты и страданий, они оставили на мне заметный отпечаток. Время не упразднило нищеты, что или, вернее, кто изменился, так это я сам - я научился смотреть в лицо обстоятельствам и менять их. Я перестал быть всего лишь жертвой. Жили мы в трущобе, и только умение и трудолюбие матери превращали ее в теплый и родной дом. С ее смертью и отъездом сестры он пришел в запустение. Нам с Джерри, по сути дела еще малышам, пришлось быть друг другу и матерью, и отцом, и братом. Отец уходил каждодневно в восемь утра и редко возвращался раньше полуночи. Время от времени он терял работу. Кое-как мы старались содержать дом в чистоте, но мальчишкам это оказалось не под силу. Накапливались грязь и мусор, дешевая мебель постепенно приходила в негодность. Отец, казалось, ничего не замечал. Одежда наша продырявилась, у ботинок отстали подошвы, но папа лишь временами спохватывался и пытался наладить жизнь.

В общем, детства у нас не было, оно проскользнуло мимо. Когда мне исполнилось десять, а Джерри одиннадцать, мы решили, что пора брать жизнь за рога. Мой брат был тверд, как скала, и без него мне было бы не выжить. Нам нужны были деньги. Джерри где-то услышал, что заработать можно, разнося по домам газеты, например "Бронкс хоум ньюз". Однажды, после уроков, мы отправились на Вашингтон-Хайтс и предстали перед мистером Кендаллом, долговязым, жилистым, с удлиненным лицом мужчиной. Могу себе представить, что он почувствовал, увидев двух оборванцев с длинными спутанными волосами, в разбитых башмаках и дырявых чулках.

- Мы справимся, - твердо заявил Джерри, и Кендалл сказал "ладно". Он дал нам шанс. Кендалл был из того поколения иммигрантов-ирландцев, которые начинали с самой беспросветной нищеты, и понимал наше положение. Нам вручили

тетрадь с именами примерно 90 подписчиков, каждый из которых платил по 20 центов в неделю. Десятая часть - наша.

Итак, моя трудовая биография началась в 10 лет, и с тех пор я, не переставая, вкалывал до двадцати двух, время от времени переходя с одной работы на другую. Сначала, в течение трех лет, - доставка "Бронкс хоум ньюз"; затем - сигарная фабрика; потом шляпная мастерская; мясной магазин, где я убирал помещение и разносил заказы; потом - одно из районных отделений нью-йоркской Публичной библиотеки; затем, в течение года, пошивочная мастерская - сначала на рассылке, потом прессовщиком, то есть учеником прессовщика. Попутно я кончил семи- и десятилетку и получил стипендию для поступления в Национальную академию дизайна, где проучился год и откуда ушел в семнадцатилетнем возрасте, когда к печати был принят один мой рассказ.

Первый урожай, что собирает бедность, это человеческое достоинство, и нет такой действительно, по-настоящему бедной семьи, которая походила бы на семью Кратчисов, описанную Диккенсом в "Рождественской песни в прозе". Возможно, он и сам почувствовал фальшь - и показал потом другую сторону медали - в "Колоколах"; от этой книги остается ощущение, что нищета проистекает от неправильного устройства мира. В Нью-Йорке, где бедность и богатство идут об руку, это особенно отчетливо видно. Богатство всегда бросается в глаза, оно - как пощечина, хотя люди, о которых я сейчас говорю, - они жили на Риверсайд-драйв и Форт Вашингтон авеню - по-настоящему богатыми не были, принадлежали к среднему классу; но у нас-то не было ни гроша, и нам они казались богачами. Тогда, в 20-е годы, не было такого понятия, как черта бедности, не было пособий, не было бесплатных обедов в церквах. Выживай как знаешь. Все это я потом пытался объяснить людям, которых удивляло и раздражало мое членство в компартии. Отсутствие пособия по безработице - лучший учитель.

Возможно, одна из основных причин, по которым нам - как семейному клану - удалось выжить, было местожительство. Антисемитизм там достиг чудовищных размеров, я даже не могу описать его. Именно отчаянный протест сплотил нас в единое целое. За исключением дядиной семьи, которая брала нас на лето, никто из родственников не протянул нам руки. Иные из них жили неплохо, а уж не бедствовал никто, но гордость не позволяла отцу просить помощи, а сам, повторяю, не предложил никто.

Достигнув 14 лет, я почувствовал, что вхожу в пору зрелости; разница же между детством и зрелостью, с моей точки зрения, это

разница между беспомощной жертвой и чем-то вроде уже взрослого человека, который умеет за себя постоять. Мы с братом достигли именно такого возраста.

Мы все еще были бедны; мы все еще ничего не добились; но у нас был здравый смысл, было образование и была решимость. Худшая сторона нищеты это невежество и безнадежность.

Я начал думать. С того самого момента, когда жизнью моей стала улица, я все время что-то придумывал, изворачивался, хитрил, приспосабливался, а когда нужда припирала, то и выпрашивал; все это, конечно, тоже требует мозгов, но под мышлением я понимаю способность сопоставления фактов и оценки достигнутого результата. А это дело особое.

Зимой 1929-30 годов я работал в Публичной библиотеке Гарлема. Платили мне очень мало - 25 центов в час, - но работа нравилась. Книги наполняли меня чувством истории и порядка, привносили смысл в этот странный мир, и, случалось, я задерживался на работе на час-два, а то и на все четыре. Рабочее время мое было с четырех до девяти пять дней в неделю, а в субботу с девяти до часа. Я читал все подряд - книги по психологии, астрономии, физике, истории, да, главным образом, по истории. Кое-что мне было понятно, кое-что - нет.

Как-то мне попалась "Железная пята" Джека Лондона. В то время он был первым в ряду наших литературных кумиров. Сегодня его проза кажется мне цветистой и чересчур манерной, но тогда мы были непритязательны и читали и перечитывали все его книги - за исключением "Железной пяты". В каталогах библиотеки она не значилась. Директором библиотеки была некая миссис Линдси, по-моему, дальняя родственница нашего будущего мэра, весьма достойная женщина. Как-то я набрался храбрости и спросил ее, почему у нас нет "Железной пяты". Она ответила, что роман этот считается большевистским. Сама она его не читала и надеется, что я тоже не буду интересоваться такими вещами. Само слово "большевик" звучало в ту пору анафемой; ни одного дня не проходило, чтобы с первой полосы "Дейли ньюз", или "Миррор", или "Грэфик" на большевиков не выливались кучи дерьма. Сегодня слово "большевик" вышло из употребления, но тогда было главным синонимом зла.

"Железная пята" открыла мне дверь в мир социализма. Если бы я жил где-нибудь в Бруклине, в замкнутом кругу иммигрантов, то впитал бы социализм с молоком матери, но в нашем ирландско-итальянском квартале его и духу не было, а средняя школа Джорджа Вашингтона, куда я попал еще в одиннадцатилетнем возрасте благодаря хорошим отметкам в начальных классах, считалась заведением для детей, чьи

родители происходили из среднего класса. Я ходил туда вместе с хорошо одетыми мальчиками и девочками, у которых были карманные деньги и которые могли себе позволить приличный обед в школьном кафетерии. На этом фоне "Железная пята" произвела на меня совершенно оглушительное впечатление. Лондон провидел фашизм с точностью, оказавшейся недоступной ни одному из писателей его поколения. Да и не только писателей - в ту пору не было ни одного историка или обществоведа, который хотя бы приблизился к созданному им макету того, что воплотилось в действительность через несколько десятилетий после его смерти. В этом романе Лондон изобразил восстание подпольной социалистической организации против фашистского режима и сделал это так убедительно, что трудно было поверить, будто это просто фантазия.

Именно тогда я впервые задумался над тем, почему общество устроено так, а не иначе.

Антикоммунистическая истерия достигла в 60-70-е годы таких масштабов, что лишь немногие пытались постичь суть тех сил и обстоятельств, которые порождают социалистическое мышление и, своим чередом, коммунистическое движение.

А потом, в один прекрасный день, расставляя тома по полкам в своей библиотеке, я наткнулся на книгу Бернарда Шоу "Путеводитель просвещенной женщины по социализму и капитализму". По-моему, я читал где-то, что Шоу назвал так свою книгу, чтобы привлечь к ней внимание мужчин; и еще я слышал, что он считал женщин более просвещенными, чем мужчины, - с этим я, кстати, согласен. В любом случае "Путеводитель..." это самое ясное из известных мне описаний предмета. Мне было тогда шестнадцать, и книга вооружила меня новым пониманием таких вещей, как бедность, неравенство, несправедливость. Шоу открыл бездонный ящик Пандоры, и с тех пор мне так и не удалось захлопнуть его. Его книга также определила новый круг моего чтения - я быстро проглотил "Теорию праздного класса" Торстайна Веблена, "Оглядываясь назад" Беллами, "Происхождение семьи, частной собственности и государства" Энгельса. Мысли теснились у меня в голове, и я буквально терроризировал собеседников, втягивая их в разнообразные споры, - например, была ли хоть с какой-то стороны Первая мировая войной справедливой. В "Мартине Идене" Джек Лондон недвусмысленно заявил, что писатель должен владеть науками, и, поскольку я ему верил, то встал на указанный путь, прочитав для начала рекомендованного Лондоном Спенсера.

Я поступил в Национальную академию. Ну да, черт возьми, поступил. Мне семнадцать, я жив и здоров, хотя все было за то,

что либо я вырасту хиляком, либо вообще подохну. И вот вам пожалуйста, я - именной стипендиат самой престижной школы искусств в Америке. И все еще не угодил в тюрьму, что следует признать достижением немалым, ибо тихоней меня никак не назовешь, характер невозможный, задаю разные вопросы, во всем сомневаюсь, злюсь, вечно придумываю что-то, идеи самые дикие, сверстников они заставляют вступать со мной в отчаянную перепалку, а старших доводят до исступления. Но, наверное, у меня были и кое-какие достоинства.

И я был невинен - не просто неискушен, а невинен в том смысле, что не испытывал ненависти. Ну а искушенность приходит с годами.

Я сделался писателем и остался им на всю жизнь. Впрочем, у меня и помыслов других не было: никем, кроме писателя, я стать не могу и не стану. Каждый день я вставал в шесть утра и садился за стол. Через два года после поступления я ушел из Академии, где заставляли практиковаться в чертежах и рисунках в скучной для меня классической манере. На написание рассказа у меня обычно уходило несколько дней, и я тут же отсылал его в тот или другой журнал. Сейчас мне даже трудно поверить, что я был так наивен, - ведь все мои рассказы были написаны от руки, а почерк у меня не из лучших. Разослав с дюжину рассказов, я как-то упомянул об этом в разговоре с одной дамой из библиотеки; к моему величайшему разочарованию, она сказала, что ни в одном журнале даже и читать не будут рассказ, написанный от руки. Либо надо перепечатывать на машинке, либо вообще оставить эту затею.

Свой первый роман я написал, когда мне было 16 лет. Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь публиковал роман в этом возрасте, но, в конце концов, говорил я себе, кто-то должен быть первым. Я поставил точку, прочитал рукопись насквозь, убедился, до чего она плоха, и решил, что лучше всего просто бросить ее в мусорную корзину. Второй роман был посвящен моей учебе в академии. Назывался он "Как я был художником". Я лично передал его из рук в руки трем издателям. Все вернули его - без комментариев. Это меня не обескуражило. Тем более, что в одном дешевом журнальчике у меня приняли рассказ и заплатили 40 долларов.

Каждое утро я садился за стол, писал до изнеможения, а потом шел на работу в шляпный магазин. Как-то, оказавшись на Четвертой авеню, я набрел на книжный развал и за сорок центов купил потрепанный экземпляр "Капитала" некоего Карла Маркса. Совсем недавно мне казалось, что книги существуют только в нью-йоркской Публичной библиотеке, теперь я формировал

собственное собрание; впрочем, что касается "Капитала", я осилил страниц 200 и сдался. Иное дело - "Коммунистический манифест". Эту старенькую брошюру я купил за 10 центов, но в ней было столько пороха и огня, что пришлась она мне куда больше по вкусу. В то время я был влюблен в девушку по имени Тельма. Затем ее сменила Максин. Потом - Марджори. Беда, однако, заключалась в том, что работа, писание, попытки заняться самообразованием, не говоря уж о заботах по нашему мужскому дому, почти не оставляли мне времени на девушек.

Однажды вечером Джерри, у которого хватало денег на настоящие свидания, в отличие от моих прогулок по аллеям Центрального парка, пригласил меня в ресторан. Незадолго до того он познакомился с женщиной шестью годами старше его. Ее звали Сара Кьюниц и вместе со своим братом Джошуа она несколько раз бывала в Советском Союзе. Джошуа написал книгу о советской Средней Азии - "Заря над Самаркандом". То было начало 30-х - годы нашей ужасной Депрессии с ее голодом и безработицей и в то же время годы, когда миллионы людей необыкновенно увлекались социалистическим экспериментом, видя в Советском Союзе маяк, освещающий путь всему миру. Линкольн Стеффенс, знаменитый публицист и политэконом, только что вернувшийся из Советской России, заявил: "Я видел будущее, и оно действует". Повсюду вспыхивали идеологические баталии, большевиков превозносили до небес и смешивали с грязью. Я лично зачитывался рассказами о Советском Союзе. Я прочитал "Десять дней, которые потрясли мир", и Джон Рид, вместе с Джеком Лондоном и Джорджем Бернардом Шоу, стал для меня героем и образцом для подражания. И вот брат пригласил меня в ресторан "Русский медведь", где познакомил с Сарой Кьюниц, Джошуа Кьюницем, Филипом Равом и Джеймсом Фаррелом.

Боюсь, мне сейчас трудно передать впечатление, которое произвел на меня тот вечер, не говоря уж о роли, которую он сыграл в моей жизни. Правильного образования я не получил; детством моим была работа, а уроками - уроки улицы и канавы. Никогда не приходилось мне встречать людей такой образованности, такого кругозора, такого темперамента; я даже не подозревал, что они вообще существуют на свете. Сара была ослепительна, я влюбился в нее с первого взгляда. В то время я еще не читал "Зари над Самаркандом", но автор - вот он, рядом, и сам рассказывает о местах, описанных в книге; а вместе с ним Джеймс Фарелл, тоже живой писатель. Раньше мне писателей встречать не приходилось, а тут, во плоти, автор "Юного Лоннигана".

Тут я прерву ненадолго свой рассказ и перенесусь на некоторое время вперед. Во время суда над Бухариным и другими противниками Сталина в конце 30-х годов компартия США раскололась, и отпавшую фракцию назвали троцкистской. В ней оказались и Фаррел, и Рав - редактор левого журнала "Партизан ревью". Много лет спустя, когда я вел в течение семестра занятия в университете штата Индиана, коллеги с факультета английского языка и литературы устроили в мою честь небольшую вечеринку. Проходила она несколько напряженно, потому что участники никак не могли решить, являюсь ли я членом компартии или нет. И тут один умник сказал, что у него есть хитрый способ выяснить это. Он спросил меня, что я думаю о творчестве Джеймса Фаррела. Услышав, что, с моей точки зрения, Фаррел один из лучших писателей-реалистов нашего времени, этот деятель вскочил на ноги и заявил: он не коммунист, потому что любому члену партии, высоко отзывающемуся о Фарреле, грозит исключение. Все это, разумеется, совершенная чушь, как, впрочем, почти все, что говорилось тогда о компартии.

Но в тот вечер все это было еще впереди, и я, совершенно очарованный, сидел за столом, вслушиваясь в аргументы и контраргументы, купаясь в безбрежных водах идей, понятий, теоретических рассуждений, которыми обменивались эти, на мой тогдашний взгляд, необыкновенные люди. Сам я и рта не отваживался открыть, и когда кто-то спросил меня, где я учусь, промямлил нечто нечленораздельное; а уж о том, что (в собственном представлении) являюсь писателем и заикнуться не посмел.

Возвращаясь домой, мы с Джерри только об этой встрече и говорили. Она и на него произвела неотразимое впечатление, однако, как старший брат и вообще более опытный человек, Джерри считал своим долгом рассуждать трезво. Но на меня его слова не производили никакого впечатления, я твердо решил сделаться членом компартии и встать под знамена великой борьбы за социалистическое переустройство мира, в котором не будет бедных и угнетенных, в котором будут царить равенство и справедливость.

Набравшись храбрости, я позвонил Саре Кьюниц и пригласил ее пообедать. Она с готовностью согласилась. Во время обеда я рассказал ей о своем детстве, образовании - или, вернее, отсутствии такового, - о попытках писать, а потом перешел к делу и заявил, что хочу вступить в компартию. Навсегда останусь ей благодарен за то, что она меня отговорила.

Позицию свою Сара сформулировала четко: пусть на вид я малый сильный и неглупый, но мне еще и восемнадцати не

исполнилось. Нельзя строить свою жизнь на основе одной лишь книги Бернарда Шоу. Если я сейчас вступлю в партию, то потом вполне могу об этом пожалеть. В ответ на мое возражение, что она-то в партии, Сара сказала: это совсем другое дело, она гораздо старше меня. Тут я едва не взорвался, тем более, что уже мечтал о романе с этой умной, опытной женщиной.

- Слушай, - сказала Сара, - у нас есть писательская организация. Называется она Клуб Джона Рида. Это не партия, но нечто очень близкое партии. Ничего не надо подписывать, никаких членских билетов - просто ходишь на собрания, слушаешь, что говорят другие, когда хочешь, говоришь сам, встречаешь интересных людей, учишься.

Я вступил в Клуб, сходил на пять-шесть собраний, но чувствовал себя не в своей тарелке. Участники их были левыми, иные, может, и коммунистами, однако все они - выпускники университетов, понятия не имеющие о том, что Джек Лондон называл жизнью в бездне. Что же до славной Сары Кьюниц, я более или менее регулярно встречался с ней на протяжении последующих шести лет. Потом она вышла замуж, и встречи наши стали реже. Я посылал ей свои книги, она отвечала, и я всегда ценил ее советы и критические замечания. Когда через двенадцать лет я вступил-таки в компартию, она, напротив, - не без оснований - в ней разочаровалась, и наши дороги разошлись. Не знаю, жива ли она сейчас, но неизменно вспоминаю о ней с нежностью и любовью. <...>

В годы работы в ДВИ я задумал книгу о черном Возрождении на Юге, точнее, в Южной Каролине. Стимулов было несколько. Во-первых, мне приходилось время от времени просить своих помощников предоставлять материалы, касающиеся армейской службы негров (тогда употреблялось именно это слово). Во-вторых, как-то мы с Бетт оказались у Карла ван Дорена, и я заспорил с Синклером Льюисом об антисемитизме. Из Германии до нас начали доходить слухи о гонениях на евреев, так что предмет был чувствительный.

Именно этот разговор, касавшийся, в основном, проблемы нетерпимости, позволил мне свести воедино все мои предварительные заметки к роману, так что отныне всякая минута, что я мог оторвать от службы в Департаменте, была отдана писанию новой книги. Я придумал название - "Дорога свободы". Последняя точка была поставлена в апреле 1944 года, то есть через несколько месяцев после того, как я ушел из Департамента. Все это время я стучался в двери различных редакций с просьбой послать меня на фронт в качестве военного

корреспондента. И медленно, но верно втягивался в круг коммунистов, которые сильно отличались от тех, каких я знал раньше. Новые мои знакомцы входили в одну из партийных структур, называвшуюся секцией культуры, - писатели, художники, артисты, продюсеры, редакторы, издатели, рекламщики.

Описывая эти годы, нельзя упускать из виду, что Гарри Трумэн и начало того, что впоследствии назвали "холодной войной", - все это было еще впереди. Русские оставались нашими союзниками. Поражение Паулюса под Сталинградом, когда в плен к русским попала целая армия, сделало гитлеровское дело безнадежным, и хотя, когда войне придет конец, предсказать было трудно, никто даже и помыслить не мог, что союзники могут ее проиграть. Каковы бы ни были масштабы антикоммунизма в 30-е годы и во время войны, сама пропаганда носила, скорее, ритуальный характер, ибо нельзя было не считаться с тем, что именно американская коммунистическая партия играла решающую роль в организации промышленных рабочих и формировании Конгресса индустриальных организаций. Коммунисты жизнь положили на эту борьбу. Они грудью вставали на защиту безработных, голодных, бездомных, и именно эта решимость, эта стойкость, это достоинство привели в партию многих ведущих деятелей культуры страны.

Тут я сталкиваюсь с трудным, самым трудным, возможно, вопросом. Следует ли называть их имена. Большинства из них уже давно нет на свете, но проклятье "запятнанного" (в глазах Комитета по антиамериканской деятельности) имени все еще витает над этой землей. Я могу назвать Теодора Драйзера, ибо он гордился членством в партии; я могу назвать доктора Дюбуа - старейшину историков-негров, ибо он и его жена Ширли Грэхем тоже гордились принадлежностью к организации и говорили об этом открыто, как, впрочем, и Альберт Мальц, и Джон Говард Лоусон, и Дальтон Трамбо. Все они умерли, но ведь есть и те, кто еще живы и занимают виднейшие места в своих профессиях. Эти люди, того не афишируя, были коммунистами, в свое время они, как и я, вышли из партии, но я и сейчас не имею права называть их имена. По ходу дальнейшего повествования станет ясно - почему; тем не менее, мне жаль, что эти звезды национальной и международной сцены не могут быть призваны свидетелями защиты против бесчисленных клевет, выдвинутых по адресу компартии.

Но одно следует сказать с полной ясностью: это была партия Соединенных Штатов. Большинство из нас никогда не были в Советском Союзе, и мы мало что знали (или вообще не знали

ничего) о Сталине. Не думаю, будто наше руководство лгало нам; полагаю, осведомлены эти люди были не больше нашего, и хотя невежество ничего не оправдывает, кое-что оно все же объясняет.

Что же касается меня и Бетт, то нас привлекли к участию в нью-йоркском отделении культурной секции компартии коллеги из ДВИ. Никто нас ничем не соблазнял, да и нужды не было. Люди, с которыми мы познакомились, были молоды, умны, открыты. На одних была военная форма, они ждали отправки за океан; другие служили в Нью-Йорке - в корпусе связи и иных организациях (всего в вооруженных силах США во время Второй мировой войны было 13 тысяч коммунистов). Третьи - заняты на важной гражданской службе, среди них люди, физически ущербные, или единственные кормильцы, или вышедшие из призывного возраста. И, конечно, среди них было много женщин - умных, сострадательных, добрых.

Они приглашали нас к себе домой, ухаживали за нами, многое рассказывали и постепенно, один за другим, открывались: они - члены партии и хотят, чтобы мы тоже в нее вступили. Эти люди нам нравились, но решающего шага мы так и не сделали. Во-первых, скоро должен был родиться ребенок. Во-вторых, я чего только не делал, на уши вставал, чтобы попасть на фронт, а то война кончится, а я ничего не увижу. К тому же меня смущали две вещи: истребление старых большевиков в СССР и пакт Сталина и Гитлера о ненападении. Наконец, предстояло закончить "Дорогу свободы".

Как-то с западного побережья мне позвонил Фрэнк Таттл, довольно известный голливудский режиссер. Ему пришла в голову идея поставить "Гражданина Тома Пейна". В Нью-Йорке сейчас его приятель Джон Байт. Он набросает сценарий; потом мы с ним поедем в Калифорнию и, остановившись на три у дня у Таттла, поговорим о деле.

Это была моя первая поездка в те края. Впереди будет еще тридцать или сорок, и в общей сложности мы с Бетт проведем там лет шесть, но сейчас все было впервые, и места эти показались мне совершенным чудом.

Как-то мы отправились вместе с хозяином к Джону Говарду Лоусону, который жил неподалеку, в долине Сан-Фернандо. У него я познакомился со многими яркими, удивительными людьми, и все они были коммунистами. Разговор зашел, в частности, о Скотте Фицджералде, который, в свою очередь, часто встречался с Лоусоном. Скотт был тогда в ужасном состоянии, и Лоусон подсказал ему тему, которая в конце концов легла в основу "Последнего магната". Мне говорили, что Фицджералд готов был вступить в компартию, но осуществилось ли его

намерение, сказать не могу. Этот его роман остался, как известно, неоконченным, однако же, поскольку Фицджералд тоже был одним из моих кумиров в литературе, такое предположение произвело на меня сильное впечатление. С Лоусоном у меня вышел долгий разговор, в ходе которого он всячески убеждал меня, что единственно по-настоящему антифашистскую силу в этой войне представляет коммунистическая партия. Недавний сотрудник Департамента военной информации, я не мог принять столь категорической позиции, однако же, следует признать, его гости - кинозвезды, сценаристы, режиссеры - оказались людьми значительно более проницательными и серьезными, чем я предполагал.

На следующий день меня пригласили пообедать Херберт Биберман и его красавица-жена Гейл Сондергард. В маккартистские времена Гейл подвергнется яростным преследованиям и надолго попадет в черный список, но в то время она, женщина одаренная и во всех отношениях замечательная, была популярной актрисой. Именно в их доме я познакомился с Полем Робсоном, и именно там завязалась многолетняя дружба с этим поразительным человеком, равных которому я, пожалуй, и не встречал. Мы долго проговорили с ним тогда - у него был замечательный дар собеседника. Я много расспрашивал его о Советском Союзе, где он бывал часто, а я - никогда, не был и по нынешнюю пору. Его, в свою очередь, весьма заинтересовали мои рассказы о ДВИ. Я чувствовал себя польщенным и спросил, имея в виду оказываемое на меня сильное давление, стоит ли мне вступать в компартию. Он признался, что сам в ней не состоит (не вступит и впредь), а говорю "я признался", потому что в его голосе прозвучала виноватая интонация. Как выяснилось, в какой-то момент он подал заявление, но потом передумал, однако же, продолжал Робсон, у меня случай другой, и мне следует решать самому.

Я рассказал Робсону о "Дороге свободы". Он заметил, что, если когда-нибудь на основе этого романа можно будет сделать фильм, он с удовольствием сыграл бы роль Гидеона Джексона. Ничего из этого не получилось. Подобно почти всем моим новым калифорнийским знакомым, Поль попал в черный список, и все попытки снять фильм с ним в главной роли, попытки, которые не раз предпринимались на протяжении 15 лет, ни к чему не привели. В конце концов по роману был снят злополучный телефильм с Мохаммедом Али.

Ничего не вышло тогда и из затеи Фрэнка Таттла, фильм по "Гражданину Тому Пейну" появился лишь 45 лет спустя. Вообще, мой роман с кинематографом протекал не вполне обычно. Он

начался в 1939 году, сразу после публикации "Рожденных свободными". Мне позвонил какой-то человек, представившийся кузеном киномагната Гарри Коэна, и предложил поспособствовать продаже прав на эту книгу киностудии "Коламбиа пикчерз". Гарри Коэн, сказал он, сейчас в Нью-Йорке, так что дело можно решить быстро.

Мой телефонный собеседник, с которым мы встретились на студии, оказался скользким человеком невысокого роста, который говорил с такой скоростью, что я едва успевал схватывать. "Все, что сверх тридцати тысяч, делим пополам, идет?" - и, не дав мне ответить, кинулся в кабинет к Гарри Коэну. Из-за двери послышались голоса, сначала приглушенные, затем постепенно переходящие на крик. "Какое ты имел право тащить мне это дерьмо?" - изящно изъяснялся Коэн. "Ты мой должник, сукин ты сын, ты мой должник", - откликался кузен. По-видимому, долг был сомнительным, потому что контракта не последовало; тем не менее, слова Гарри Коэна долго еще преследовали меня.

Примерно в то же время случилась история, связанная с Сэмом Голдвином. Нам позвонила его сотрудница и старая приятельница Бетт Айрин Ли и сказала, что мистер Голдвин сейчас в Нью-Йорке и ждет меня в своем люксе в "Уолдорфе". Якобы он хочет купить права на кинопроизводство "Гражданина Тома Пейна". В назначенное время я появился в "Уолдорфе". Меня встретил необъятных размеров мужчина в зеленой бязевой пижаме, поверх которой был надет зеленый бязевый халат, в зеленом бязевом шарфе, зеленых бязевых носках, зеленых бязевых шлепанцах и с торчащим из кармана халата зеленым бязевым платком. Я буквально рот разинул. Ничего подобного, в зеленых тонах, раньше мне видеть не приходилось, и когда Айрин представила меня хозяину, я вместо того, чтобы внятно назваться, глазел на него, строя догадки, нет ли под пижамой зеленого нижнего белья.

Далее события развивались следующим образом. Только что на Бродвее прошла премьера по пьесе Сидни Говарда "Патриоты". На этот день ему была назначена встреча с Голдвином. Голдвин все перепутал и сразу пустился в разговор о Томасе Джефферсоне и коротких панталонах, уверяя меня, что лично он ничего не имеет против коротких панталон, которые носил Джефферсон, но на кассе это скажется убийственно. Конечно, Джефферсон - великий американец, но разве он, Голдвин, виноват в том, что короткие панталоны отпугнут зрителя? Ничего не зная о его свидании с Сидни Говардом, я подумал - и предположил это вслух, - что Голдвин перепутал Джефферсона с Пейном, заметив, что я-то автор "Гражданина Тома Пейна". Кажется, это имя

Голдвину ничего не сказало, и ему показалось, что речь идет о "Гражданине Кейне", фильме Орсона Уэллса об Уильяме Рэндольфе Хёрсте, а я этот фильм, будто бы, рекламирую. Он разразился в адрес Уэллса потоком проклятий, заявив, что даже имени этого слышать не желает, что Уэллс нанес своим фильмом оскорбление американской кинопромышленности и Америке в целом. Очередную мою попытку отделить Кейна от Пейна Голдвин пресек в корне.

Тем временем была опубликована "Дорога свободы"; кончался третий президентский срок Франклина Делано Рузвельта; евреи из варшавского гетто подняли восстание против оккупационных войск, дав миру пример отваги и мужества; союзные войска вошли в Париж. Я жил не в вакууме, я переживал историю в один из самых ярких ее моментов, я участвовал в создании "Голоса Америки" и от имени свободы пытался наполнить надеждой сердца людей, оказавшихся под пятою фашистов. И что же? Когда титаническая битва достигла своей кульминации, я оказался в стороне только потому, что, с точки зрения правительства, люди, с которыми я общался, - слишком радикальны в своем антифашизме. Это бред; во всяком случае, мужчины и женщины, известные мне как коммунисты, вели себя куда более разумно. Процессы 30-х годов меня больше не интересовали. Я их не оправдывал, это было нечто чудовищное, но они, как и пакт Гитлера со Сталиным, принадлежали прошлому. А сегодня важно то, что советские войска ценою невиданных жертв сокрушили Гитлера и вернули человечеству надежду. Я не преуменьшаю огромного значения американской помощи по ленд-лизу, как и роли, которую сыграли американские солдаты, но именно русские вырвали у дракона зубы. Сегодня трудно осознать глубину того страха, который породило в мире фашистское безумие, но факт остается фактом: мы были убеждены, что, если Гитлер победит, свободе, счастью, жизни, как мы их понимали, - конец.

Однажды, это было в августе 1944 года, мне позвонил знакомый - коммунист и спросил в очередной раз, не хочу ли я вступить в партию. Я сказал, что мне нужно посоветоваться с Бетт. И начался длинный, на многие часы растянувшийся разговор. Конечно, мы не были провидцами. Мы и представить себе не могли, что обещает будущее людям, которые называют себя коммунистами. Мы жили в мире, где русские, наши союзники, наши боевые товарищи, вызывали всеобщее восхищение и уважение. У нас была четырехмесячная дочь, Рейчел Энн, и, если бы мы догадывались, через какой ужас придется нам пройти в ближайшие годы, вряд ли присоединились

бы к коммунистическому движению. Хочется верить, что мы были мужественными людьми, но отнюдь не самоубийцами и не безумцами, так что, когда молодые люди, выросшие под оглушительный аккомпанемент антикоммунистической пропаганды, сделавшейся чем-то вроде религии, спрашивают нас, как все же получилось так, мы вступили в партию, простые ответы найти трудно. Мир меняется.

В общем, мы с Бетт говорили и говорили. Взвешивали всевозможные "за" и "против" и в конце концов пришли к заключению, что, если антифашистская борьба стала самым значительным событием нашей жизни, то, по совести, мы должны быть с людьми, которые лучше других знают, как вести эту борьбу. Мы вступили в партию. Впрочем, тогда это был скорее символический шаг - мы с вами. Членских билетов у нас не было, и за все свои партийные годы я никогда не слышал предложения поступить против чести и против интересов моей страны. Да, я сталкивался, и сталкивался часто, с глупостью в руководстве партии, с негибкостью, с преступным эгоизмом, с поразительным невежеством и непростительным равнодушием - об этом я еще расскажу, - но поступать против чести меня никто не подталкивал.

Как я уже сказал, примерно в это же время была опубликована "Дорога свободы". Никогда еще за всю мою писательскую жизнь не обрушивалась на меня такая лавина восторгов. "Нью-Йорк геральд трибюн" назвала роман "волнующим, страстным повествованием, которое никого не оставит равнодушным. Это трубный глас свободы, равенства и справедливости".

"Ньюсуик": "Никакой иной роман, посвященный расовым взаимоотношениям, не сравнится с "Дорогой свободы" по психологической глубине, точности исторического пейзажа и непогрешимой искренности. Говард Фаст написал потрясающую книгу, не менее актуальную, чем передовые в газетах, посвященные идущей ныне борьбе за свободу".

Современность романа подчеркивала в одной из своих статей Элеонора Рузвельт, а Дюбуа высказался в том духе, что, будучи повествованием вымышленным, "Дорога свободы" в то же время отличается бесспорной исторической достоверностью.

Мне трудно рассказывать историю своей жизни, не уделив хотя бы беглого внимания истории этого романа и его читательской судьбе. Вышло так, что прочитали его не только в Америке, но и во всем мире. Один советский исследователь подсчитал, что "Дорогу свободы" перевели на 82 языка. А его

коллега из Африки, темнокожий, получивший образование в Англии, писал мне, что роман подвиг его на создание племенного алфавита, и "Дорога свободы" стала первой книгой, переведенной на этот только что народившийся племенной язык. Тираж пиратских изданий достиг многих миллионов экземпляров, и даже теперь, через сорок шесть лет после выхода книги, я получаю письма из стран "третьего мира" с просьбой разрешить публикацию глав из романа.

Когда "Дорога свободы" была опубликована в СССР и других странах Варшавского договора, кто-то высчитал, что роман вышел на первое место в XX веке по суммарному объему тиражей. Иное дело, что после моего выхода из компартии Советы немедленно вычеркнули мое имя из издательских планов и университетских программ, к чему я, в общем, был готов. Два года назад один русский журналист сказал мне, что меня в России еще не забыли. Так что, кто знает, может, со временем "Дорога свободы" вернется и там в книжные магазины и библиотеки?

Я отправился на свое первое партийное собрание, в писательскую секцию Комитета по культуре. Бетт - на свое, в секцию художников. Мы и об этом спорили до хрипоты и в конце концов сошлись на том, что наш брак распадется, если я буду с коммунистами, а она нет.

Первое собрание ничуть, как впоследствии выяснилось, не отличалось от сотен тех, что мне предстояло посетить. Как обычно, оно проходило дома у одного из членов секции, на сей раз у радиосценариста по имени Роналд Картер. Это был выпускник престижного колледжа "Уильямс", выходец из чрезвычайно обеспеченной семьи, в каковом качестве он, подобно многим, и восстал против своего холодного и пустого окружения, вступил в партию и был, что тоже сделалось почти правилом, лишен наследства.

Роналд жил в Гринвич-Виледж, занимая весь нижний этаж небольшого кирпичного дома. Он был женат на славной женщине из почтенной виргинской семьи, и, должен признать, его участие придавало нашей небольшой секции определенный лоск. Потом я нередко задумывался: не странно ли, что именно благодаря компартии я впервые свел знакомство с людьми из высших слоев Новой Англии. Впрочем, впереди меня подстерегало еще много неожиданного.

На это мое первое собрание пришло человек двадцать - две трети списочного состава, как оно в среднем всегда и бывало. Это были вполне обыкновенные симпатичные люди, половина - женщины, трое - черных. Радиосценаристы, журналисты,

романисты, двое редакторов. Председательствущий попросил внимания. Первым пунктом повестки дня значился доклад о текущем политическом положении и событиях на фронтах. Доклад сделал Пол Берни, ветеран-партиец, уже тогда пожилой человек (он давно уже умер). Большинство были молодыми, а ему - пятьдесят два. По профессии он был физик, а к нашей секции прикреплен, чтобы проследить за "выдержанностью" наших суждений. Сейчас это, конечно, звучит дико. Доклад его оказался кратким, но содержательным. Американские войска ведут бои в Германии. Красная Армия приближается к ее границам из Румынии. По прогнозам докладчика, война должна была завершиться не позднее конца 1945 года. В политическом плане перед нами как коммунистами стоит огромной важности задача - переизбрание президента Рузвельта на четвертый срок. Пол считал, что Рузвельт должен оставаться в Белом доме, пока война продолжается и фашизм окончательно не искоренен.

В свете предстоящих выборов Комитет по культуре сформировал многочисленную группу, которую назвали Комитетом искусства и науки по переизбранию Франклина Делано Рузвельта, сокращенно просто - "Искусство и наука". Это была организация, которая пользовалась широкой поддержкой со стороны разных людей, в том числе и не входивших в партию, хоть организационные заботы лежали на плечах коммунистов. Никто никого не пытался ввести в заблуждение, да и нужды не было: видные, а порой и знаменитые люди, работавшие в комитете, знали, что сформирован он коммунистами, но в ту пору они еще вызывали восхищение, по крайней мере, у большой части людей.

По второй части доклада разгорелась жаркая дискуссия. Почему, собственно, переизбранию придается такое значение? И нет ли в таком переизбрании угрозы диктатуры? Партия любила простую логику: из одного вытекает другое, а марксистское политическое мышление как раз и предполагает обнаружение таких связей. Но обычно они нарушались, партийная логика то и дело давала сбои, а история самым беспощадным образом опрокидывала марксистские прогнозы. Много говорили о знаменитом высказывании Рузвельта: солдат не покидает поля боя в ходе сражения. Партия, как мне предстояло убедиться, любила еще и лозунги.

В какой-то момент дискуссия, как это будет происходить и впредь, повернулась в сторону партийных дел. Какова нынче роль нашей партии? Одни отмалчивались. Другие, напротив, вели себя на редкость эмоционально. Все так или иначе упиралось в то, что мы отдавали свое время и готовы были, если понадобится, жизнь

отдать за дело социализма. А ни о каком социализме и даже простой надежде на будущее и речи быть не может, пока Гитлер и Хирохито не добиты; поэтому Рузвельт должен оставаться на командном пункте.

О Господи, какой же рутиной веет от всего этого, особенно сегодня, 50 лет спустя! И вот это-то и есть красная угроза, которой запугивали два поколения американцев? Угроза всему тому доброму и достойному, что есть в нашем обществе? *Да не может быть! Это, наверное, не настоящие коммунисты*. И все-таки, увы, - настоящие. Если бы заседала не наша секция, а профсоюзная, они говорили бы о моратории на забастовки, а через два года - о своем участии в организации забастовок, которые по окончании войны стали опять законными. Члены районной секции обсуждали бы ремонтные цены; в Голливуде - вклад кинематографа в победу над противником.

Но ни разу - и я пишу это через 36 лет после того, как вышел из партии, - ни разу, ни на одном из партийных собраний, не доводилось мне слышать призывов к насилию и свержению государственного строя. А если бы кто-нибудь и заговорил на эту тему, все восприняли бы это как бред сумасшедшего. Ничего я не пытаюсь сейчас защищать, знамени в руках не держу, мне просто хочется восстановить в истинном свете некоторые факты из тех, что были самым бессовестным образом извращены.

Собрание завершилось принятием двух решений. Первое - встреча с Гарри Трумэном, кандидатом на пост вице-президента; второе - проведение митинга в Мэдисон-Сквер-Гарден в поддержку Рузвельта. Из того, что говорилось уже после собрания, за кофе, следовало, будто оба мероприятия обсуждались с Рузвельтом, который, вопреки мнению некоторых своих советников, считавших, что в Мэдисон-Сквер-Гарден коммунистам делать нечего и все кончится большим провалом, дал добро. Впоследствии факт обсуждения с Рузвельтом подтвердился. Не знаю, были ли коммунисты в правительстве, хотя почему бы и нет? Партия легальная; партия стремится к тому же, к чему стремятся и все, - к победе. Впрочем, повторяю, - не знаю, а вот Трумэн, уверен, знал, ибо был разговор на эту тему. Получилось так, что именно меня назначили ответственным за встречу с ним. Я всячески отбивался, ссылаясь на отсутствие опыта, но мне пообещали любую необходимую помощь, включая и финансовую. Кстати, никакой тайны насчет источников партийных средств нет. Мы платили взносы, мы находили сочувствующих, мы создавали фонды - вот и все.

Выяснилось, что у меня есть талант организатора. Мы сняли большое помещение в гостинице "Астория", роскошном здании в

стиле рококо на пересечении Бродвея и 44-й улицы - впоследствии его, как и многие иные красивые дома в Нью-Йорке, снесли, и на этом месте выросло нечто унылое из стекла и бетона. Помочь мне вызвалось по меньшей мере 30 человек, а несколько весьма симпатичных театральных актрис предложили свои услуги в качестве официанток. Мы пригласили всех сколько-нибудь заметных газетчиков, радиокомментаторов, работников журналов, местных политиков, вообще людей с громкими именами, и почти все пришли. У нас было много вина, да и кое-чего покрепче, хватало и закусок, и за все мы платили из собственных карманов, не заимствуя бюджетных денег, выделенных на проведение президентской кампании. В приглашениях говорилось, что прием продлится с 5 до 8, но Трумэн появился в 4 и первым делом спросил, кто организует мероприятие - местное отделение Демократической партии? Я сказал: нет, с этим отделением связи не поддерживаются, мы - независимая группа писателей и театральных работников. Левые? - уточнил Трумэн, и я сказал: да, крайние левые, вслед за чем последовала беседа о компартии и ее поддержке кандидатур Рузвельта и Трумэна. Прямо о том, проводят ли мероприятие коммунисты, он так и не спросил, хотя прекрасно знал, кто мы такие: те, кого называли участниками коммунистического фронта. Не берусь воспроизвести всю беседу, но многое из того, о чем Трумэн тогда говорил со мной, помню хорошо. И с уверенностью могу утверждать, что неловкости он никакой не испытывал, а когда рядом появилась одна из наших актрисочек, то и вовсе расслабился.

На более крупное действо в Мэдисон-Сквер-Гарден билеты были раскуплены задолго до его проведения, что лишний раз свидетельствует о хорошей организаторской подготовке людей из партии. Не знаю даже кого сравнить с ними по результативности и трудолюбию. Нам с Бетт предстояло убедиться, что активная работа в компартии требует полной отдачи. С этим садишься за обеденный стол и с этим засыпаешь - собрания, сбор средств, книги, которые необходимо прочитать, и, конечно, все расширяющийся круг общения. В ту пору, когда еще шла война, не-коммунисты с удовольствием встречались с коммунистами. Жертвенный героизм солдат и офицеров батальона имени Авраама Линкольна, проявленный в испанской войне, еще был свеж в памяти американцев, и на коммунистов смотрели как на людей, наделенных исключительными политическими знаниями и преданных делу демократии даже больше, чем того требует обыкновенный здравый смысл. Быть может, этим и объясняется то, что после выборов Рузвельт пригласил на обед ведущих

работников Комитета искусств и науки.

То был первый и единственный раз, когда я оказался в Белом доме, и конечно, мне очень повезло, что хозяйкой была замечательная женщина - Элеонора Рузвельт, давний мой кумир. Бетт тоже не находила себе места от возбуждения. Надо купить новое платье, что-нибудь необычное. Надо найти няню на целый день для семимесячной Рейчел. И конечно, мне приходилось то и дело щипать себя за ляжку, чтобы удостовериться в реальности происходящего: в кармане у меня, сына рабочего, Берни Фаста, личное приглашение от Президента Соединенных Штатов. Так как же - ошиблись мы, сделав шаг в сторону партии? Или, наоборот, поступили единственно правильным образом? Сами-то мы своей роли не переоценивали, но Рузвельт, судя по всему, думает иначе. Или, чтобы особо не отрываться от земли, так думают люди, отвечающие за его предвыборную кампанию.

Глядя на событие глазами Говарда Фаста, которому только что исполнилось тридцать, я должен сказать: то был замечательный и незабывамый день. Всего приглашенных было человек 35. Президент появился не сразу, нас встретила миссис Рузвельт. Это был фуршет, и, когда все принялись закусывать, она отвела меня в сторону, и мы проговорили минут двадцать. К тому времени она уже откликнулась на "Дорогу свободы" в своей постоянной рубрике, но, обнаружив, что среди приглашенных на сегодняшний обед - автор романа, перечитала его снова. Уверяя, что оба раза она плакала над книгой, как ребенок, миссис Рузвельт выспрашивала у меня подробности, связанные с написанием романа. Еще она поинтересовалась, как нам нравятся закуски, и мы с Бетт заверили ее, что все прекрасно - маленькая невинная ложь, потому что еда состояла всего лишь из зеленого горошка, вареной картошки, бутербродов с мясом и на десерт - мороженого и печений. Миссис Рузвельт, явно довольная нашей реакцией, пояснила, что, с ее точки зрения, каждое блюдо не должно стоить более тридцати центов, неприлично роскошествовать, когда ребята на фронте, в окопах, питаются строго по рациону. В этой женщине не было ничего искусственного, вызывающего, крикливого. Высокого роста, какая-то очень домашняя, в простом бежевом платье, она заставляла забыть, что перед вами Первая леди. Впереди у меня были новые встречи с этой женщиной, но та, первая, отпечаталась в памяти навсегда.

Когда обед подходил к концу, в зал ввезли Президента. Ничто в нем не напоминало того бодрого, веселого, но и властного человека, которого мы видели в кинохронике. Время и болезнь собрали свою жатву - в инвалидном кресле сидел иссохший мужчина с морщинистым лицом. Он слабо пожал руки собравшимся. Это была моя единственная встреча с Рузвельтом, и воспоминания о ней остались не из самых светлых. Каким-то холодом веяло от него, словно жизнь уже отступила и осталась только железная воля. Помню, я подумал в тот момент: какой это сложный, какой измученный человек. Интересно, есть ли хоть кто-нибудь, кто вполне понимает его? В нашей истории это личность исключительная.

По окончании вечера нас провели по исторической части Белого дома. Вместе с Дороти Паркер и Бетт мы зашли в спальню Линкольна. Внезапно мисс Паркер разразилась рыданиями. Бетт пыталась успокоить ее, а она все повторяла, что после встречи с такой чудесной женщиной, как миссис Рузвельт, подобная экскурсия - не для нее. Странно, но насчет чудесного мужчины она не сказала ни слова. Потом кто-то предположил, что Дороти просто пьяна, но как раз в тот день она не пила. Просто что-то в ней глубоко откликнулось на трагические переживания миссис Рузвельт, которых я, слишком поглощенный собою и тем, что она нашла возможным поговорить со мной лично, ощутить не сумел.

Через несколько месяцев Франклина Делано Рузвельта не стало, и с его смертью пошатнулся до самых оснований весь наш мир, как большой, так и малый - Нью-Йорк и люди, с которыми я работал в партии. Я был молод и еще верил, что историю направляют большие люди, - странное, совершенно антимарксистское представление, которому, однако, была привержена компартия и которое, если иметь в виду обожествление Сталина, нанесло ей трагический ущерб.

Редактор партийного еженедельника "Нью мэссиз" Джо Норт попросил меня откликнуться на смерть Рузвельта. Джо был братом Алекса Норта, композитора, явно не сочувствовавшего левым, - много лет спустя он напишет музыку к моему фильму "Спартак". Джо был коренастый, с вечно всклокоченными волосами, умный, симпатичный и совершенно безответственный малый - чем-то он напоминал мне отца. Скорее всего тем, что, подобно отцу, постоянно витал в облаках. С партией его связывали отношения, хоть и крепкие, но совершенно романтические. Мы стали близкими друзьями.

"Нью мэссиз" я начал читать давно, еще в 30-е, когда журнал опубликовал серию материалов, посвященных "серебряным

рубахам", возжелавшим создать в Америке организацию, подобную гитлеровским коричневорубашечникам. Тогда у журнала было много подписчиков, чему немало способствовало постоянное сотрудничество автора, который подписывал свои очерки псевдонимом Роберт Форсайт. Позднее он объединил их в книгу "Краснее розы". В ту пору он был штатным сотрудником журнала "Кольерз", где писал под своим настоящим именем - Кайл Крайтон, и хозяева заявили ему, что надо выбирать: либо Крайтон, либо Форсайт, вместе не получится. Он выбрал Крайтона.

Сотрудники "Нью мэссиз", в особенности Джо Норт, затеяли целую кампанию, о которой я узнал много позже. Целью ее было вовлечь меня в партию. Первый шаг - публикация главы из "Непобежденных". Затем - приглашение на какой-то симпозиум, далее - еще на один, потом, после того, как я ушел из ДВИ, - просьба дать что-нибудь из исторической прозы, наконец, некролог Рузвельта.

Перечитывая сегодня, я нахожу его чрезмерно напыщенным. Когда умирает человек-икона, ему с неизбежностью поклоняешься, но сейчас я вижу, что многое из сказанного то ли смешно, то ли попросту неправда. Ни я, никто другой не сказали, например, что Рузвельт не внял мольбам восьмисот евреев пустить их в Соединенные Штаты и фактически отправил их на смерть в нацистские концлагеря. Война не способствует ни правде, ни хорошей литературе, и поскольку природа войны - смерть (или, если угодно, убийство), любое изображение настолько переворачивается, что самое дикое из человеческих установлений может показаться здоровым и даже разумным. Толстой прямо сказал: любое описание боя это ложь. Я с этим полностью согласен. Война - всегда ложь.

Война продолжалась, нашей дочери Рейчел скоро должен был исполниться год. Союзные войска продвигались в глубь европейского континента, Красная Армия приближалась к Берлину с востока, а я все еще сидел взаперти в Америке. Наша крошечная квартира казалась все более тесной, и мы решили сменить жилье. Но тут мне позвонил редактор журнала "Корона" Оскар Дайстел и попросил зайти. Есть, мол, серьезное дело.

Дайстел всегда мне очень нравился. С ним было легко говорить и работать, он печатал все, что я предлагал, даже самые странные вещи, и никогда не относился к жизни чересчур серьезно. Будучи, подобно многим другим редакторам, осведомлен о моем стремлении попасть за океан, он вызвал меня, чтобы сказать, что все в порядке.

Что в порядке?

А то, что он обо всем договорился, и, если я не переменил своих намерений, можно отправляться в качестве корреспондента "Короны". Так как?

У меня глаза загорелись. Ну, конечно, не переменил. Я на руках тут же, в кабинете, готов был пройтись, чтобы продемонстрировать свою радость. Когда ехать? Дайстел посоветовал мне успокоиться и выслушать его. Достать мне аккредитацию на европейский театр военных действий ему не удалось, и к тому же, по его словам, события развиваются так стремительно, что война вполне может закончиться еще до того, как я доберусь до Европы. Ничего не вышло и с аккредитацией в войсках, действующих на Тихом океане. А вот в район Китая - Бирмы - Индии отправляться можно. Уловив мое разочарование, Дайстел весьма популярно объяснил, что как редактора журнала сражения его интересуют меньше, чем люди и их судьбы. Он напомнил, что писатели не участвуют в боях, они пишут о них, и что, конечно, бой - главный элемент войны, но отнюдь еще не вся война. Я полечу, продолжал он, транспортным самолетом через Африку и до прибытия в Индию, где будет находиться мой постоянный коррпункт, могу отклоняться от прямого маршрута и останавливаться где угодно. Почему бы, скажем, не заехать в Палестину и не написать очерк о сионистском движении? А из Индии желательно получить интервью с Махатмой Ганди. В общем, ему нужны очерки, а не корреспонденции, и это мне понравилось.

Через пять недель я оказался в Касабланке и последующие полгода мотался по Юго-Восточной Азии. А потом на Хиросиму и Нагасаки упали атомные бомбы, и война кончилась.

Наверное, я мог бы попасть в Японию и посмотреть, что осталось от этих двух несчастных городов. Но желания не было - хотелось как можно скорее вернуться домой, и я отплыл из Калькутты на военном корабле "Виктория". Путешествие заняло шесть недель, но в конце концов мы пришвартовались в устье Гудзона, я поспешно сбежал по трапу, поймал такси и через весь залитый солнцем мирный Манхэттен поехал домой. Обнял жену, крепко прижал к груди дочурку и, стараясь сдержать слезы, все повторял про себя: Бог - на небе, и в мире все хорошо.

Я был дома - в моей прекрасной, славной, ухоженной стране, с которой не сравнится ни одна страна в мире, в Нью-Йорке, моем любимом, прекрасном городе. Здесь мой дом, моя жена и моя дочурка Рейчел, ей уже почти полтора года. И нет войны, нет голода, и кончилась мучительная борьба за свободу.

Почти неделю я ни с кем не встречался, день и ночь проводил с Бетт, ходил с ней гулять по Центральному парку, мы растягивались на траве, смотрели, как рядом играет Рейчел, вечером отправлялись в театр, возвращались домой и предавались любви.

Во время этого затишья перед бурей, которая уже начала собираться над моей головой, все и впрямь казалось замечательным. Еще до моего отъезда за океан мы дали в "Нью-Йорк таймс" объявление, что ищем домработницу, и на него откликнулась молодая женщина с открытым лицом. Не успели мы и слова сказать, как она выпалила, что она японка, родилась в Калифорнии, но в марте 1942 года ее вышвырнули из дома и отправили в концлагерь, вышла она оттуда всего несколько недель назад, так что если мы считаем ее врагом, то и говорить не о чем. Сама мысль о том, что эта славная девчушка может быть врагом, показалась смехотворной. Разумеется, мы наняли Хану Масуду, и она прожила у нас пять лет. Это было славное, любящее создание. Хана сильно облегчила нам существование.

Недели безмятежной домашней жизни мне показалось достаточно, и по истечении ее я заставил себя отправиться на 12-ю улицу, в редакцию "Нью мэссиз". Помещалась она в девятиэтажном здании, там же, где были расположены редакция "Дейли уоркер" и кабинеты руководителей компартии. Эти последние помещались на самом верху, и применительно к ним говорили просто: "девятый этаж". Генсеком был в ту пору Джин Дэннис, высокий, привлекательный мужчина, который сменил на этом посту Эрла Браудера. В 1944 году Браудер, возглавлявший партию на протяжении всех 30-х, в самые трудные моменты попытался реформировать ее из политической организации, участвующей в выборах, в нечто вроде марксистского университета. Полагаю, этот шаг был подсказан военным опытом, а также тем влиянием, которое оказала партия на формирование Нового курса Рузвельта, и сделан в надежде на то, что курс будет продолжен. Нет смысла входить сейчас в долгие и, наверное, скучные теоретические рассуждения о целесообразности такого замысла. Достаточно сказать, что ничего у Браудера не вышло, его отстранили от руководства, а впоследствии исключили из партии.

С Джином Дэннисом я прежде знаком не был, даже не отваживался подниматься на "священный" девятый этаж, испытывая должный пиетет к руководителям организации, которую чтил и уважал. Но было у меня к нему поручение от индийских товарищей. Не организуешь ли ты мне свидание с Дэннисом? - спросил я Джо Норта. Возможно, у меня было

преувеличенное представление о значимости переданного через меня устного послания от компартии Северной Индии к компартии США, хотя, с другой стороны, и преуменьшать его не следовало. Джо согласился со мной, поднял трубку, и ему ответили, что Дэннис готов меня принять. Я поднялся лифтом на девятый этаж, где меня проводили в кабинет Дэнниса. Он сидел за столом и не поднялся, чтобы пожать мне руку. Не улыбнулся. Не предложил сесть. Непонятно было, рад он меня видеть или вовсе нет.

Предо мной сидел руководитель компартии США. Но и я был одним из ведущих и наиболее ценимых - в то время - писателей страны. Партия прилагала усилия, чтобы вовлечь меня в свои ряды, она осыпала меня лестными словами, сводила с самыми видными своими представителями, печатала в "Нью мэссиз" отрывки из моих книг и вообще всячески обхаживала. Дэннис, однако, не выказывал никакого желания познакомиться со мной, а когда я оказался в его кабинете, смотрел на меня, как судья на подсудимого перед вынесением приговора.

Поскольку меня так и не спросили, зачем я здесь, пришлось начинать самому. Я кратко обрисовал кризисное положение в Индии и повторил то, что слышал от тамошнего партийного руководства. Дэннис выслушал меня и кивнул, - мол, все ясно, я свободен.

Уж не тронулся ли я умом, мелькнуло у меня в голове. Или это шутка? Но на шутника Дэннис походил менее всего. Неужели он так и не попросит меня поделиться впечатлениями? Ведь речь идет о крупнейшей в мире колонии. Неужели ему неинтересно? Я ждал. "Свободны", - на сей раз он произнес это вслух. Я повернулся и вышел из кабинета.

Вернувшись к Джо Норту, рассказал, как меня встретили. Джон не удивился: таков уж Дэннис, с людьми сходится плохо. Да? А мне-то казалось, что работа партийного руководителя как раз состоит в том, чтобы хорошо сходиться с людьми, а если он не умеет, то какого же черта стал генсеком? Джо признал, что Дэннис - не лучший вариант, куда больше подошел бы Билл Фостер, ветеран левого движения, но он стар и у него больное сердце. К тому же я всего год в партии и, с точки зрения Джо, мог бы попридержать язык.

Впоследствии Джо Норт станет одним из моих ближайших друзей. Он всегда напоминал мне Фрайра Така из легенды о Робин Гуде, это был человек, на редкость доброжелательный, я любил его, он был мне как брат. Но при всем при том он был склонен к ортодоксии. А это настоящее бедствие - что в компартии, что в религии, что в политике и вообще в мышлении.

Через несколько недель после встречи с Дэннисом я снова пришел к Джо и долго рассказывал ему про голод в Бенгалии, заметив, что никто еще не прикасался к этой трагедии. Словом, я хочу написать о ней в "Нью мэссиз". Джо задумался и покачал головой. Нет, этого журнал печатать не будет. Но почему? Это же нечто небывалое. Умерло 6 миллионов человек! Неужели это останется незамеченным? И никто не понесет за это ответственности? И никто не взовет к справедливости? "Война, - ответил Джо. - Война за все в ответе. Японцы тогда вторглись в Бирму. Англичане боялись, что они дойдут до Индии и в их руках окажутся неисчислимые ресурсы субконтинента. Вот они и приняли необходимые меры".

Это меня взорвало. Значит, ничего не оставалось, как заплатить шестью миллионами жизней? Как язык поворачивается говорить такое?! Джо попытался успокоить меня: мы воевали с нацизмом, а нацизм - это гибель надежды, гибель будущего, и за все, что случилось, мы несем равную ответственность. Это не единственная несправедливость. Война вообще порождает несправедливость.

Спор продолжался, но так ничем и не кончился. Джо попросил меня забыть о своей идее, во всяком случае, на время. Потом, возможно, мы к ней вернемся и рассмотрим под другим углом зрения. Более чем через сорок лет я включил этот сюжет в роман "Присяга". Он не привлек ни малейшего внимания. Вот так-то <...>

Жан-Поль Сартр располагал к себе сразу же. Я с первого взгляда влюбился в этого славного коротышку с толстыми очками на носу, который укрепил меня в уверенности, что в компартию я вступил не напрасно. "Сегодня это единственный способ убедить себя в праве на существование и принадлежности к человеческой расе", - я запомнил эти его слова. Мы познакомились, когда я работал в ДВИ. То было время, когда европейские коммунисты могли еще приезжать в США без риска быть выдворенными иммиграционными властями. Сартр приехал в Нью-Йорк с перечнем книг, которые Галлимар хотел опубликовать во французском переводе. Странно, но целый ряд издателей и литературных агентов, в том числе и мои, не откликнулись на это предложение.

Я жутко обозлился и при встрече передал Сартру письменное согласие на перевод "Дороги свободы". Его английский оставлял желать лучшего, и на помощь нам пришел один мой приятель. Когда они появились у нас дома, Бетт была на собрании. Собрания она ненавидела. Невеликий говорун, она раздражалась,

когда начинались бесконечные прения, а без них не обходилось ни одно собрание коммунистической ячейки. В тот вечер она вернулась около одиннадцати и, не дав мне рта раскрыть, - мол, на всю жизнь наговорилась, - молча прошла в спальню. Когда на следующий день я сказал, что мы с Сартром засиделись до двух ночи, Бетт едва не расплакалась: как я мог не сказать ей, *кто* у нас в гостях. По-моему, она до сих пор до конца меня так и не простила.

А мы действительно не могли остановиться. Сартр рассказывал о своем участии во французском Сопротивлении. Говорили мы и о партии, и о Советском Союзе, и том, что ждет нас в будущем. На Америку он смотрел гораздо более пессимистически, нежели я. На его взгляд, на эту страну наползает ночь. Я понимал, что он имеет в виду. Страх, которому предстояло сковать Америку на долгие годы, тогда еще только зарождался, но в воздухе уже витал.

Когда правда о Холокосте стала выходить наружу, Клифтон Фэдиман печатно предложил стереть Германию с лица земли, а немцев либо казнить поголовно, либо рассеять по земному шару, страну же окружить колючей проволокой и написать: "ТУТ ГЕРМАНИЯ, ОНА ПРЕДАНА КАЗНИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ". Сартр спросил, неужели человек, занимающий такое положение, как Фэдиман, действительно мог сказать это? Я ответил, что наш недавний гость - полковник Красной Армии, участвовавший в прорыве ленинградской блокады, в которой погибли его мать и двое братьев, тоже усомнился в правдивости этой истории. Сартр пытался понять Америку и американцев и убедился, что задача это нелегкая. Должен, впрочем, признать, что и мне не легче понять французов.

Заговорили о русских. Сартр заметил, что им свойственна глубокая сострадательность к людям, но и какая-то крестьянская жестокость. С его точки зрения, мы, американцы, плохо понимаем крестьян - что европейских, что русских. Наши фермеры совсем на них не похожи. Не исключено, что эта самая крестьянская жестокость принесет Советскому Союзу множество бед. В то же самое время, подобно мне, он не верил страшным рассказам про Россию, где якобы всех, кто не согласен со Сталиным, лишают элементарных человеческих прав и бросают в тюрьму. Увы, эти рассказы оказались правдой.

Впрочем, о Сталине мы тогда думали мало, меня лично куда больше занимало то, что происходило в Америке, и, когда в "Дейли уоркер" меня попросили съездить за свой счет и написать (без всякого гонорара) о стачках в Чикаго, я с радостью

согласился. Там я провел неделю. Впечатление было такое, будто бастует вся страна. Тысячи сталелитейщиков, автомобилестроителей, рабочих других производств - кажется, наружу выплеснулись все чувства, которые приходилось сдерживать в годы войны. Я ночевал в домах у левых, говорил с ними, сидел за одним столом. Оказывается, я уже забыл эту жизнь. Как легко забывается, каково это - быть бедным. Как легко, не будучи бедным, рассуждать о бедности! Я ходил по улицам Чикаго, вдыхал его воздух и, возможно, кое-что за эту неделю научился там понимать.

Вернувшись домой, я очутился перед фактом, что надо зарабатывать на жизнь. Бетт справедливо заметила, что у нас большая квартира, за которую, соответственно, надо много платить, маленькая дочь, а рано или поздно станет известно, что я коммунист и передо мною закроют все двери. Следует отметить, что еще до появления "Последней границы" и "Дороги свободы", которые стали семейным чтением для многих американцев, я написал по меньшей мере 30 новелл, которые долго ожидали своего издателя. После публикации "Гражданина Тома Пейна" на них появился спрос, они были напечатаны, гонорар получен и благополучно проеден. Но скоро должен был выйти мой новый роман - "Американец", он уже широко рекламировался, так что насчет ближайшего будущего я особо не волновался. Даже если обнаружится, что я коммунист, еще ни один издатель не отклонял рукописи на этом основании. Словом, я, как мог, успокаивал Бетт, но чутье у нее было куда острее моего, и всего два года спустя Кларк Клиффорд, специальный помощник президента Трумэна, будучи допрошен членами Комитета по антиамериканской деятельности, вынужден был оправдываться, что, мол, покупая в подарок друзьям около 50 экземпляров "Гражданина Тома Пейна", не знал, что это коммунистическая книга и что он таким образом способствует коммунистической пропаганде. Безумие и позор поджидали нас за ближайшим углом, но как я мог это предугадать?

Партия считала, что мне нельзя расслабляться. Чтобы я не угодил ненароком в ловушку успеха, было принято решение направить меня в составе группы из десяти человек на учебу в партшколу. Располагалась она в небольшой гостинице на берегу Гудзона рядом с Биконом, курс был рассчитан на три недели и включал в себя лекции, семинарские занятия, дискуссии - по десять часов в день. Мы изучали экономику, как рыночную, так и марксистскую, американскую и мировую историю, философию, науку управления, происхождение классов: разумеется, много говорилось о причинах, вызвавших Первую и Вторую мировые

войны. Так напряженно мне еще никогда не приходилось работать. Никакой тайны из этих занятий не делалось. Посещать их мог кто угодно, а среди преподавателей были профессора Гарварда, Йеля, Корнелла, Массачусетского технологического института. Один даже приехал с западного побережья.

Во главе школы стоял старый коммунист, которого мы называли "папашей Менделем", не знаю уж, было ли это его настоящее имя. Тогда ему уже перевалило за семьдесят, и вспомнить он мог немало - дни Юджина Дебса и зарождение социалистического движения в Америке. Он жил и умер в счастливой уверенности, что мы, наше поколение, построим на этой плодородной и во всех отношениях замечательной земле Новый Иерусалим.

Мы были романтиками; подобно священству, мы были преданы идее - в нашем понимании - человеческого братства, ведать не ведая о том, что станет впоследствии известно о Сталине и Советском Союзе. Вокруг нас скопилось столько клеветы, столько злобной лжи, что, право, нелегко было отыскать в этой массированной атаке на коммунизм крупицы правды о России. В отношении самой партии мы сохраняли большую трезвость, мы видели изъяны в ее деятельности, но были подобны множеству честных и отважных священников-католиков, посвятивших себя борьбе за свободу в Центральной и Южной Америке: священники-конформисты всячески нападают на них, но их веры это не колеблет, они терпят нападки во имя высшей истины.

Конечно, наша позиция была уязвима, и чем дальше - тем больше. Нас не приучали мыслить свободно и непредвзято, в нас внедряли факты в том виде, в каком их видела партия, а этот взгляд мог быть и безупречно правилен, и совершенно ложен; требование железной дисциплины нередко порождало смятение в кругах, где к партии относились с почтением и уважением. Я и сам сделался чем-то вроде священника. Потребовались годы тяжелых раздумий, страданий, потребовался даже тюремный срок, чтобы понять: ограничивая свободу, свободы не добудешь. От такого ограничения страдает мое творчество, хуже того, страдает сама партия, которой я присягнул, и, самое ужасное, - страдают миллионы людей по всему миру.

Все эти мои странные коммунистические годы шла борьба между писателями, и оборачиваясь назад с высот - сколь угодно малых - той мудрости, что приходит с годами, я испытываю острую тоску. Раскол талантливых людей на сталинистов и троцкистов стал одной из тяжелейших культурных трагедий того времени. В большинстве своем писатели - люди мягкие и

чувствительные, они тянутся к теплу, им нужна поддержка, настолько нужна, что нередко они позволяют использовать себя левым или правым силам, забывая о том, что должны представлять независимое братство, сообщество, без которого этот кровавый, безумный мир жил бы еще хуже. Если одни защищают Советский Союз, а другие его осуждают, то почему бы спокойно не поспорить, вместо того, чтобы ненавистнически изничтожать друг друга?

Припоминаю, Джо Норт рассказывал мне: как-то столкнулся он на Четвертой авеню с Драйзером и, увидев в его глазах слезы, спросил, что случилось. А я и не заметил, что плачу, откликнулся Драйзер и добавил, что идет из Бауэри, где на каждом шагу попадаются голодные, бездомные, раздавленные. Идет и думает, до чего же люди жестоки по отношению к себе подобным. И на такого человека можно клеветать потому лишь, что он стал членом партии?

Да, все мы считали себя праведниками, а "праведность" и ортодоксия до добра не доводят. Голова у меня пухла от полученных разрозненных знаний, и при этом я еще старался вести нормальную жизнь мужа и отца. Как-то нас, партийных писателей и журналистов, печатавшихся, в основном, в "Нью мэссиз", пригласил на обед румынский посол.

Ровно в половине первого к ресторану мягко подъехал большой черный "кадиллак", из машины вышел толстячок и радушно поприветствовал всех нас шестерых во главе с Сэмом Салленом, старым партийцем, ныне профессором английской литературы Нью-Йоркского университета. Стоял не по сезону - ранняя весна - душный день, и посол предложил поскорее зайти в ресторан, где работал кондиционер. Сэм замешкался и посмотрел на водителя, который не выходил из лимузина. Насколько я помню, завязался следующий содержательный диалог.

Сэм: У вас дипломатический номер, так что машину можно оставить здесь. Скажите водителю, пусть идет с нами.

Посол: О водителе не беспокойтесь.

Сэм: Так он идет с нами?

Посол: Это водитель. Что ему делать с нами?

Сэм: Но на улице очень душно. Почему бы ему не присоединиться к нам?

Посол: Но ведь это просто водитель.

Сэм: Это рабочий. Мы - партия рабочего класса. Как мы можем позволить себе обедать в ресторане, оставив его здесь голодным?

Посол: Я вас не понимаю. Это мой шофер. Мы с вами встретились, чтобы поговорить. Какое он отношение имеет к

этому разговору?

Демократы и борцы за равенство, мы решительно встали на сторону Сэма, и в конце концов посол сдался, водитель сел с нами за стол. Наверное, ему было не по себе, но мысль о том, что мы спасли человека от тридцатиградусной жары, тешила мое чувство справедливости... до вечера, пока я не пересказал эту историю Бетт. Она покачала головой, явно мне не поверив: таких безмозглых людей просто не бывает. При этом она имела в виду не посла - нас шестерых.

В чем безмозглость-то - в демократизме? - вскинулся я. Румыния теперь - коммунистическая страна. Так неужели посол коммунистической страны не должен быть хотя бы до некоторой степени демократом?

Бетт не замедлила с ответом. Во-первых, посол - европеец, а в Европе, в том числе и в Румынии, неважно - коммунистической или нет, совсем другие понятия о демократии, чем в Америке. А во-вторых, если бы у нас был шофер, мы что, всегда приглашали бы его с собой на обед? В таком случае - почему с нами не садится за стол Хана? Я пытался спорить, хотя нельзя сказать, что аргументы мои отличались особой убедительностью. Мне вспомнился рассказ, который я напечатал в "Сатердей ивнинг пост" за несколько лет до того. Фигурировала в нем деревенская телега, которую тащат лошади, запряженные цугом. В ту пору это был довольно популярный журнал, и редакция получила не менее пятисот читательских писем, в которых говорилось, что в телегу лошадей никогда не запрягают цугом, только обок. Вместо того чтобы признать, что в этом деле ничего не понимаю, я, как безумец, погрузился в историю, пытаясь найти в книгах XIX века хоть одно упоминание о телеге, которую тащат запряженные цугом лошади. Разумеется, ничего не нашел. Вот так и Бетт. Мне нечасто удавалось ее переспорить. С тех самых пор, как я на ней женился, не перестаю убеждаться, что слепая приверженность принципам - дело обоюдоострое.

Как-то я написал для "Дейли уоркер" отчет о собрании в Бостоне, на котором мне пришлось выступить. Публику я охарактеризовал как "группу молодых парней и девчонок, белых и черных". Отнес рукопись в редакцию, но она не появилась на полосе ни на следующий день, ни через два дня. На третий я был вызван на ковер, чтобы выслушать "обвинение". На сей раз это было обвинение в... белом шовинизме.

Это меня потрясло. Что я такого написал, чтобы заслужить столь чудовищный упрек? Меня поспешили просветить: я называю негритянских юношей и девушек парнями и девчонками. Именно так обращались к невольникам на протяжении столетий рабства.

Мне следует это понять и зарубить на носу. Я сказал, что, с моей точки зрения, это полная ерунда, на протяжении столетий рабства и к белым работникам обращались так же, не понимаю, почему для черных надо подбирать другие слова? Какие, кстати?

Молодежь.

Мне не нравится это существительное. Парни, девчонки, подростки, ребята, школьники - да мало ли синонимов. Почему именно молодежь?

Потому что в этом слове есть достоинство. Или хотя бы шаг в сторону достоинства.

Чушь. Полный бред. Я горячился все больше, но мне объяснили, что подобные изъяны в моем мышлении показывают, насколько слабо я разбираюсь в том, что такое белый шовинизм, и, если я не приму партийного толкования этого понятия, придется поставить вопрос о моем исключении из партии.

Вы что, шутите? Отнюдь. Меня хотят исключить из партии из-за каких-то дурацких разногласий по поводу одного слова?! Не из-за слова. Из-за неспособности понять, что такое белый шовинизм.

Оборачиваясь назад, я спрашиваю себя, а почему, собственно, я не послал их куда подальше? Хотите исключать - исключайте. Но в ретроспекциях толку мало, к тому же это был не 1990, а 1946 год, и каким бы идиотизмом ни отдавала описанная сцена, речь шла о партии Билла Фостера, Большого Билла Хейвуда, Элизабет Герли Флинн, о партии, организовавшей французское Сопротивление, сражавшейся с фашизмом до последнего, преподавшей миру еще один урок мужества и чести, о партии, сформировавшей батальон имени Авраама Линкольна, о партии, готовой заплатить за свободу любую цену. Нет уж, пусть цепляются за свои дурацкие слова. Из партии я исключить себя не позволю; в общем, я согласился, пообещал, что проанализирую допущенные мною ошибки.

В декабре 1945 года я получил письмо от доктора Эдварда Барски с просьбой войти в исполнительное бюро Объединенного антифашистского комитета беженцев. Начиная с января 1939 года, когда объединенные силы Франсиско Франко, Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини свергли законное испанское правительство и гражданской войне пришел конец, я не отклонял ни единой просьбы о помощи, денежной или любой иной, ветеранам батальона имени Авраама Линкольна или испанским республиканцам-изгнанникам. Я воспринимал испанскую борьбу очень лично и испытывал чувство вины, что не поехал туда добровольцем. Предложение доктора Барски я почел за честь, о

чем немедленно и сообщил ему.

Эд Барски был превосходным хирургом. Было ему, по-моему, когда мы познакомились, лет 48 - худощавый человек с ястребиным носом, весьма привлекательный, властный, чем-то напоминавший Хамфри Богарта. К тому времени он уже стал героем и живой легендой, выдвинулся еще молодым и карьеру сделал головокружительную - Франкфурт, Вена, Париж и, наконец, хирургическая практика в Нью-Йорке. В 1937 году он уехал добровольцем-медиком на гражданскую войну в Испанию и, более чем на десять лет опередив вооруженные силы США, организовал там подвижные хирургические госпитали.

После победы Франко доктор Барски вернулся к частной практике в Нью-Йорке, но связей с испанскими республиканцами не терял; многие из них сумели перейти Пиренеи и осесть в южной Франции, и с окончанием войны в Европе доктор Барски отправился в Тулузу, сумел каким-то образом собрать деньги на приобретение здания заброшенного женского монастыря и переоборудовал его в первоклассную больницу. Повседневной ее деятельностью занимались французы, но финансировалась она из средств, собиравшихся в Америке в рамках Объединенного антифашистского комитета беженцев по программе "Помощь испанским беженцам".

Республиканцам сочувствовали тысячи и тысячи американцев, ведь те в меньшинстве, лишь при поддержке добровольцев из интернациональных бригад, сражались с армиями Гитлера, Муссолини и отрядами, которые Франко набрал в Северной Африке. И сражались они тогда за дело всего человечества, как стало ясно после гитлеровской оккупации Польши. Однако же ни Рузвельт, ни Черчилль даже пальцем не пошевелили, чтобы помочь им. Уже тогда на республиканскую Испанию навесили ярлык коммунистической, и в результате мир заплатил страшную цену за фактическую поддержку фашизма в борьбе против призрака коммунизма.

И все же у нас, в Америке, люди с незашоренными мозгами и незачерствевшими сердцами выступали в поддержку испанцев, и когда мы просили денег, деньги нам давали. Это была уникальная кампания по сбору средств. Мы получили деньги от Элеоноры Рузвельт. Мы получили деньги от миссис Леман, жены губернатора штата Нью-Йорк. Тысячи долларов собрала для нашего фонда Люсиль Болл, замечательная комическая актриса. Список наших волонтеров выглядел как страницы справочника "Кто есть кто". О политических взглядах всех этих людей я рассуждать совершенно не намерен, я говорю просто, что они поддержали наше движение. А оно составляет целую главу в моей

жизни.

В Соединенных Штатах начался процесс, не менее чуждый нашей истории, нежели истории Германии - гитлеровский национал-социализм. Трамплином стало распоряжение президента Трумэна, согласно которому все правительственные чиновники должны присягнуть в том, что не являются и никогда не являлись членами компартии. Принести такую клятву означало подвергнуть себя риску обвинения в лжесвидетельстве, каковое влекло за собой суровое наказание. Отказ расценивался как молчаливое признание своей принадлежности к партии и, соответственно, влек за собой увольнение с работы. Было много спекуляций о том, что заставило Трумэна пойти на этот шаг; чаще всего говорили, что, после того как у России появилось атомное оружие, он опасался вооруженного конфликта со своим вчерашним союзником, отношения с которым становились все хуже.

Однако же, независимо от причин, события ближайших лет стали непосредственным результатом именно этого президентского распоряжения. Пожар полыхнул по всей стране: за федеральным правительством поспешали правительства штатов, за ними - городские власти, далее школы - свои места потеряли тысячи превосходных преподавателей, - государственные больницы, государственные университеты, кинопромышленность, издательства - конца этому безумию не было. Конечно, никого, как в Германии, не казнили и не отправляли в концлагеря, но были увольнения, были черные списки, нередко - профессиональное очернение, после чего уже не представлялось возможным получить работу по специальности. В общем, в стране начался и шесть лет, с 1946 по 1952 год, продолжался самый настоящий террор.

Его главными, хотя далеко не единственными инструментами были два Комитета по антиамерканской деятельности: один - в рамках палаты представителей, во главе с Джоном Вудом, другой - сенатский, во главе с Джозефом Маккарти. Комитет палаты представителей, сформированный еще в 1938 году, после войны практически целиком сосредоточился на клевете и истерических нападках на все силы левого толка в Америке. Начиная с 1946 года, Торговая палата США начала публиковать списки людей, подозреваемых в связях с коммунистами. И чтобы никто не подумал, будто распоряжение Трумэна - всего лишь орешек в сравнении с тем, чему страна стала свидетелем в последовавшие годы, напомню, что оно касалось двух с половиной миллионов служащих, а в соответствии с принятым в 1947 году законом Тафта-Хартли сходную присягу должны были принести и лидеры

всех профсоюзов.

В такой вот атмосфере однажды утром у меня дома раздался стук в дверь, и курьер вручил мне повестку с предписанием явиться на заседание Комитета по антиамериканской деятельности Конгресса, имея при себе "все печатные материалы, бухгалтерские книги, протоколы и иные документы, связанные с получением и распределением денежных средств в рамках деятельности Объединенного антифашистского комитета беженцев". Я позвонил доктору Барски, он сказал, что немедленно собирает исполнительное бюро. К сожалению, на вечер того дня у меня было назначено выступление, отменить которое я не мог, но заявил следующее: независимо от того, что решат члены бюро, я ни при каких обстоятельствах не собираюсь передавать документы в распоряжение этого гнусного комитета и именно в этом духе прошу Эда проголосовать от моего имени. Он сказал, что предстоит серьезное обсуждение, на что я ответил: меня это не интересует, мое решение твердое.

Бетт, бывшая свидетельницей моего разговора с Эдом, вполне со мною согласилась, но, естественно, разнервничалась. Что может воспоследовать за таким отказом? Я позвонил Эммануилу Блоху - позднее он будет защищать в суде Розенбергов - и Мэнни сказал: по закону мне грозит штраф или до года тюрьмы. Впрочем, заверил он меня, никто еще не получал срока за неуважение к Конгрессу, этого просто не бывает. Что же касается штрафа, то как бы велик он ни был, деньги собрать можно.

Это утешало. Бетти всегда была, да и сейчас остается равнодушной к деньгам. Правда, насколько все же велик может быть штраф, непонятно, однако же она готова и в долг просить, даже нищенствовать, коль скоро речь идет о риске оказаться за решеткой. Я просто отмахнулся. Сгущающуюся атмосферу террора я, конечно, ощущал, однако же, не состоя на службе и живя на гонорары со своих книг, экономически ощущал себя более или менее уверенно. Только что был опубликован мой "Американец", основанный на биографии губернатора Иллинойса Олтгелда. Роман попал в список бестеллеров, был выдвинут не престижную литературную премию, договоры на зарубежные издания поступали один за другим, и если меня что и смущало, то только политические намеки в некоторых рецензиях: нет ли ощущения, что Фаст пишет с коммунистических позиций? Между тем своего членства в партии я никогда не афишировал. Замелькало слово "тенденциозность". Однако же, убеждал я Бетт, в Соединенных Штатах еще никогда не сажали писателей, тем более, что в ту пору мои книги сделались в стране настольным чтением, а Кларк Клиффорд еще не пробормотал своих жалких

слов, что, мол, раздаривая друзьям "Гражданина Тома Пейна", он не знал, что это коммунистическая пропаганда. А как же Торо, возразила Бетт, впрочем, скорее в шутку.

Что ж, коли волноваться не о чем, почему не извлечь из всей этой истории хоть какое-нибудь удовольствие? Мы с Бетт не были в Вашингтоне с момента памятного приглашения в Белый дом, так что совсем неплохо съездить туда, походить по музеям и картинным галереям. Я с удовольствием, хотя и без удивления, воспринял единогласное решение нашего бюро не передавать никаких документов комитету Вуда-Ренкина (так он еще назывался), ибо допустить такое значило бы запятнать собственную честь. В Вашингтон нас отправлялось 17 человек: все члены бюро за вычетом доктора Барски, который уже заявил об отказе предоставлять какие-либо документы, и президента Гильдии газетчиков Джона Макмануса, который вообще не получал никаких повесток. В ту пору таких организаций власти еще побаивались. Среди нас было семь женщин, в том числе Элен Брайан, секретарь нашего комитета, остальные - домохозяйки и учителя. Помимо них - три врача, издатель Леверетт Глисон, профессор, заведующий кафедрой германистики Нью-Йоркского университета Лайман Бредли, продюсер Герман Шумлин, испанский бизнесмен Мануэль Мангана и два профсоюзных деятеля. Не знаю уж, кто из них был, а кто не был коммунистом, могу лишь догадываться - только догадываться, - что пятеро в партию входили.

Сами по себе слушания представляли нечто вроде закрытого заседания комитета, на которое допрашиваемые приглашались по одному. Впрочем, разрешалось выходить из зала для консультации с адвокатом. Наши интересы представлял Бенедикт Вулф, который непонятно почему - то ли сознательно, то ли просто в голову не пришло - не посоветовал нам воспользоваться Пятой поправкой к Конституции, позволяющей не свидетельствовать против себя.

Подошла моя очередь. Я вошел в зал. Конгрессмены сидели за овальным столом. Адамсон, юрисконсульт Комитета, на протяжении всех слушаний продолжал оставаться на ногах. Мне предложили сесть. Я ответил на вопросы об имени и местожительстве, и дальше беседа протекала в следующем отчасти комическом духе.

Председатель: Итак, вам понятно, зачем вас сюда пригласили? Можете ли вы сказать членам комитета, что у вас в кармане?

Фаст: Разумеется.

Председатель: У вас там документы, о которых говорится в

повестке? В карманах или где еще?

Фаст: На этот вопрос...

Председатель (*прерывая*): Нет-нет, нам нужен прямой ответ: да или нет. Так есть они у вас с собой?

Фаст: На этот вопрос я хотел бы ответить следующим образом...

Председатель: Нет, у меня совершенно нет желания слушать, как вы зачитываете заранее приготовленное заявление. Разве вы и без него не знаете, что у вас в карманах?

Фаст (*читает*): Мне была вручена повестка, предписывающая...

Председатель (*перебивая*): Я об этом не спрашивал. Вы уже и без того сказали, что вам была вручена повестка.

Фаст: Но я хочу ответить на ваш вопрос именно таким образом.

Конгрессмен Мундт: Отвечайте просто: да или нет.

Фаст: Мне задан вопрос, и у меня есть право ответить на него так, как мне представляется целесообразным.

Председатель: Отвечайте на вопрос, а уж потом комментируйте свой ответ сколько угодно. Итак, есть у вас собой документы?

Фаст: Вы позволите мне ответить на этот вопрос?

Председатель: Конечно. Да или нет?

Фаст: На этот вопрос я хотел бы...

Председатель (*перебивая*): Нет, мы не хотим выслушивать никаких заявлений. Нам нужен ответ на вопрос. Вы производите впечатление разумного человека. Так зачем же увиливать...

Итак, мне была оказана честь: выборное лицо признало за мной некоторое здравомыслие. Заявление, до которого я никак не мог добраться, - а обмен репликами в том же роде продолжался довольно долго - было принято совместно, зачитать его должен был каждый из нас, и звучало оно следующим образом:

"Господин председатель, я получил повестку, предписывающую мне представить имеющиеся в моем распоряжении протоколы, бухгалтерские документы и деловую корреспонденцию Объединенного антифашистского комитета беженцев. Вся вышеперечисленная документация находится на доверенном хранении у мисс Элен Брайан, что лишает меня возможности выполнить предписание комитета".

А Элен, женщина замечательно отважная, всегда была готова взять ответственность на себя, ведь никто из нас не предполагал тогда, что она поплатится за свое моральное мужество годом тюрьмы. Если бы что-то подобное пришло в голову, разумеется, никто бы не позволил ей так рисковать. Но наш адвокат уверял,

что никакой тюрьмы быть не может. Впрочем, то, чем это дело закончилось, отчасти может успокоить нашу совесть: в тюрьму, за одним-двумя исключениями, попали мы все.

Однако же Комитет по антиамериканской деятельности и не думал оставлять меня в покое. Когда я работал в ДВИ, до нас по крупицам начала доходить информация, касающаяся некоего Иосипа Броза, известного также под именем Тито. Я попросил знакомых контрразведчиков добыть мне о нем и его действиях в Югославии все, что только можно. Кое-что я узнал, но, поскольку сведения оставались туманными, передачи для Голоса Америки сделать так и не удалось. Тем не менее, обрывочные эти сведения у меня сохранились, и как-то в разговоре с Глисоном я помянул о них. Это было в 1943 году, я тогда еще не входил в Антифашистский комитет, а он уже входил и заметил между прочим, что, вероятно, деньги, которые собирали они с Эдом Барски, отчасти пошли и на то, чтобы Тито перебрался из Франции, где он находился на правах беженца, в Югославию. Но Иосип Броз - распространенное в Югославии имя, и, как выяснилось, речь шла вовсе не о том Тито. Что, однако, не обескуражило Глисона. Он носился с идеей выпустить книгу о борьбе Тито против Гитлера и пообещал, если я напишу листов пять, мгновенно выпустить очерк в мягком переплете.

Я рассказал об этом предложении Джозефу Барнсу, добавив, что на гонорар не претендую, а Глисон не претендует на прибыль - все деньги пойдут на нужды испанских беженцев. Вопрос заключается лишь в том, могу ли я использовать сведения, полученные от армейской контрразведки. Барнсу идея пришлась весьма по душе, и, используя каждую свободную от работы на радио минуту, книгу я написал. Это была первая более или менее серьезная работа, посвященная Тито и партизанской войне в Югославии; в свое время многие даже сочли, что это неплохой вклад в общую борьбу с фашизмом.

Что не помешало Комитету по антиамериканской деятельности, забыв, что Тито отвлек с фронта несколько фашистских дивизий и таким образом оказал неоценимую помощь Америке, и памятуя лишь о том, что наши деньги пошли на поддержку коммунистов, прислать мне очередную повестку. На сей раз вызвали меня одного. Для заседания Комитета явно не хватало кворума. Собственно, из его членов присутствовал только конгрессмен Вуд и помимо него юрисконсульт Эрни Адамсон и, естественно, стенографистка.

Помнится, вся эта история меня сильно обозлила, и, человек все еще довольно молодой - мне было тогда 32 года - в выражениях я не стеснялся. Я назвал Вуда жалким,

отвратительным типом, которому наплевать не только на права человека, но и на элементарные приличия. Впоследствии все это он из протокола допроса вычеркнул, но тогда меня немало удивила его хладнокровная реакция на мои выпады. Не произвела на Вуда особого впечатления и моя ссылка на мнение известных юристов, с которыми я советовался и которые в один голос заявили, что презрительное обращение к людям, ему подобным, не может рассматриваться как неуважение к Конгрессу, таковым считается только отказ отвечать на вопросы, стало быть, я чист. Я указал также, что непозволительно вручать человеку повестку в семь вечера с вызовом на три пополудни следующего дня, заметив попутно, что, поскольку на повестке нет ни даты отправления, ни подписи, официальной она вообще считаться не может. Тем не менее, я здесь и прошу отметить, что моя явка является добровольной.

И вновь меня удивило, насколько спокойно было принято мое заявление. Я ожидал, что меня выставят из помещения, но, конечно, сделав это, они лишились бы всякого преимущества передо мной и только оказали бы мне услугу. Так что Адамсон открыл слушания. Напомнив мне о показаниях трехмесячной давности, он спросил, являюсь ли я все еще директором Антифашистского комитета?

Являюсь.

Заявил ли я под присягой, что этот комитет имеет целью лишь помощь беженцам?

Заявил.

Адамсон: Являетесь ли вы автором книги "Этот невероятный Тито"?

Фаст: Да, эту книгу написал я.

Адамсон: В этой книге, на странице 14, вы утверждаете, что Антифашистский комитет собирал средства для возвращения Тито в Югославию. Вы признаете это?

Фаст: Книга написана три года назад, я не помню, что там говорится на странице 14. Я давно в нее не заглядывал. Нет ли у вас экземпляра?

Адамсон: Зачем? Я ведь только что сказал вам, что написано на этой странице.

Фаст: Предпочитаю взглянуть собственными глазами. И вообще не понимаю, зачем меня сюда вызвали. Говоря откровенно, не думал даже, что вы или этот тип (я ткнул пальцем в Вуда) умеете читать. Или вы хотите сказать, что читали мою последнюю книгу "Американец"? А может, вы считаете, что только у вас есть право слова?

Следует заметить, что протокол этого заседания значительно

отличается от того, что на нем в действительности говорилось. В какой-то момент Вуд не выдержал и тоже начал употреблять непечатные слова. "Думаешь, прижал нас, ублюдок несчастный? Совсем наоборот". В протоколе: "В Вашингтоне бастует персонал гостиниц. Из этого следует, что вам придется ехать в Нью-Йорк и снова возвращаться сюда. Вы готовы к этому?" И далее (из протокола вычеркнуто): "Нам вовсе не нужно притягивать тебя за неуважение к Конгрессу, дубина ты эдакая. Мы просто будем посылать тебе повестки 365 дней в году".

Честно говоря, на сей счет у меня сразу возникли сомнения (и, как выяснилось впоследствии, не напрасно), но уверенности все же не было, поэтому, пожав плечами, я сказал, что готов отвечать на их вопросы, и давайте, мол, покончим с этим. Дальше я полагаюсь на свою память - записей не сохранилось. Я попытался как можно более доступно объяснить, что герой моей книги это одно лицо, а Иосип Броз, о котором идет речь в документах Антифашистского комитета, - совсем другое, и что последний никогда не был ни в Испании, ни во Франции. Вуд, однако, никак не мог успокоиться. Быть может, так с ним никто еще не разговаривал, а тут какой-то несчастный комми позволяет себе черт знает что, и он, Вуд, ничего не может с ним поделать. Вспоминая этот эпизод, я не испытываю ни радости, ни сожаления. Просто выяснилось, что никто из них книги моей прочитать не удосужился, поручили какому-то клерку, тот-то и подчеркнул на странице 14 соответствующий пассаж, а говорилось в нем следующее: "Представитель Объединенного антифашистского комитета связался с Тито и предложил ему содействие в возвращении в Югославию".

Продиктовал мне эту фразу Глисон, который, в свою очередь, питался сведениями, полученными от Дейва Уайта, ветерана батальона имени Авраама Линкольна. Дейв же встречался в Испании с человеком по имени Иосип Броз. Честно говоря, написать сколько-нибудь связную историю о Тито на основании тех обрывочных сведений, которыми я тогда располагал, практически было невозможно. Тем не менее книга вышла, и теперь, под напором Адамсона, желавшего выудить у меня источники информации, я оказался в довольно щекотливом положении. Скажи я, что действовал как служащий ДВИ с разрешения Элмера Дэвиса, на ковер вызовут и его. Эта публика любила звучные имена, они обеспечивали дополнительную рекламу. Так что я пробормотал что-то невнятное, сославшись на разрозненные сведения, якобы полученные в частных разговорах и из газет. Я предложил также, чтобы Комитет, коли он хочет убедиться, что наш Иосип Броз это вовсе не Тито, связался с

югославским посольством. Тут они, кажется, поняли, что дальнейший допрос ни к чему не приведет, и отпустили меня.

Ко времени вторых слушаний палата представителей уже выдвинула против нас обвинение в неуважении к Конгрессу, оно было подтверждено Большим жюри, и суд назначен на 13 июня 1947 года. Обвинение же было выдвинуто 16 апреля 1946 года, то есть всего через девять дней после допроса членов нашего Исполнительного бюро, и в Конгрессе нашлось всего несколько человек, отважившихся выступить против Комитета по антиамериканской деятельности. Возглавил эту немногочисленную группу конгрессмен Вито Маркантонио, но, как мне представляется, наиболее точно высказался Эмануил Селлер, член палаты представителей от штата Нью-Йорк - цитирую по стенограмме заседания от 16 апреля 1946 года: "Господин спикер, мы создаем прецедент, печальный прецедент, обвиняя людей без суда, без участия жюри, и к тому же людей, лишенных юридической поддержки. Принимая эту резолюцию, мы предаем забвению наше прошлое. Мы отказываемся от права на свободу слова, свободу личности, неприкосновенность собственности и жилья. Принимая эту резолюцию, мы пренебрегаем американскими правилами честной игры и конституционной процедурой. Впоследствии, попомните мои слова, нам придется горько пожалеть о таком решении.

Мне кажется, будь сегодня живы Том Пейн и Том Джефферсон, Эндрю Джексон и Эйб Линкольн, им бы не избежать слушаний в Комитете по антиамериканской деятельности. Иным из членов этого комитета явно пришелся бы не по душе радикализм этих патриотов. Много лет назад Том Пейн, чье перо во время Американской революции было острее штыков, сказал: "Предрассудки, подобно паукам, плетут свою паутину, где им заблагорассудится, даже там, где это кажется невозможным".

Люди, чьи имена вы только что зачитали, ударили по паукам, плетущим паутину предрассудков и нетерпимости, в которую попадают наивные и невежественные. За это, и только за это, вы собираетесь подвергнуть их наказанию".

Далее мистер Селлер перешел к положению в стране, но отдаленные раскаты грома уже прозвучали, и люди в Конгрессе уже опасались, как бы свидетельства их поведения в прошлом не обернулись против них в неопределенном будущем. Наши адвокаты уверяли, что суд первой инстанции скорее всего отвергнет выдвинутые обвинения, а если и признает нас виновными, можно будет апеллировать к Верховному суду. Я воспринимал происходящее спокойно, таковы правила игры, отчасти я ко всему этому был готов. Меня не должны осудить

только за то, что я коммунист, но если осудят - это будет вызов не только коммунизму, но и всем либералам, всем трудовым людям.

19 сентября 1946 года в Нью-Йорк приехали профессор Фредерик Жолио-Кюри с женой Ирэн. Два дня спустя мы с Бетт познакомились с ними на небольшом приеме у французского военврача капитана Сесиля Сигаля. Английский мадам Кюри, женщины во всех отношениях очаровательной, оставлял желать лучшего, но Фредерик говорило бегло, и, устроившись где-то в углу комнаты, мы хорошо и искренне потолковали. От хозяина он узнал, что я коммунист, и поскольку они с Ирэн были членами Французской коммунистической партии, профессор посчитал, что со мной можно говорить откровенно. Вот как, примерно, протекала наша беседа.

Фаст: Как вы думаете, у России будет атомная бомба?

Жолио-Кюри: А она у них уже есть.

Фаст: Есть атомная бомба?

Жолио-Кюри: Конечно, даже две, и сейчас они способны производить пять бомб в месяц, так что к концу сентября у них будет семь. А через полгода уровень производства возрастет до сотни бомб в месяц.

Фаст: Вы уверены?

Жолио-Кюри: Я ведь работал с русскими. Я видел бомбы. Какие еще доказательства вам нужны?

Фаст: А разве это не совершенно секретная информация? По-моему, вы делитесь со мною тайнами, которые я вовсе не должен знать.

Жолио-Кюри: Ну почему же? На мой взгляд, как раз наоборот, вам стоит знать это. И всем стоит.

Фаст: В таком случае отчего вы не соберете пресс-конференцию и не заявите об этом на весь мир?

Жолио-Кюри: Как вы это себе представляете? Ведь никто не уполномочивал меня говорить от имени Советов. К тому же у меня нет доказательств. Да, я могу заявить, что видел все собственными глазами, что оказывал помощь, но кто мне поверит? В Америке все убеждены, что русские - люди отсталые.

Фаст: Я более или менее регулярно пишу для "Дейли уоркер". Почему бы не напечатать эту информацию там?

Жолио-Кюри: Действительно, почему бы?

На следующий день я встретился со штатным корреспондентом газеты Милтоном Хоуардом и тогдашним дежурным, а впоследствии главным ее редактором Джоном Гейтсом и передал содержание своего разговора с профессором.

Что будем делать? На мой-то взгляд, эту историю надо предать гласности. Проговорили мы долго. С одной стороны, трудно поверить, что ЦРУ могло проворонить такую историю, но с другой, деятельность этой организации, после того, как оттуда были уволены лучшие сотрудники, особого доверия не вызывает.

Мы склонялись к тому, что взрывать такую бомбу на страницах "Дейли уоркер" было бы ошибкой. Нужно какое-то другое издание. В то же время нельзя прятать голову в песок, нельзя забывать о своей ответственности перед страной. Что делать?

Незадолго до этого разговора, газета, в поисках более широкого читателя, ввела колонку бродвейской хроники. Вел ее человек, хорошо знавший театральный мир, - ветеран испанской и Второй мировой войн Берни Рубин. Вот мы и решили, в конце концов, что содержание моего разговора с Жолио-Кюри он передаст в отчете о приеме (он происходил в студии французского художника Муа Кислинга, рядом с Центральным парком). А поскольку нашу газету власти своим бдительным вниманием не оставляют, все быстро станет известно и в ЦРУ, и в Генеральной прокуратуре, и в других местах. Так и поступили. Судя по тому, как протекал наш с Жолио-Кюри разговор, я не мог усомниться ни на йоту: он говорит правду. Да и зачем бы ему вводить меня в заблуждение? Именно меня? Тогда уж следовало бы выбрать в собеседники какого-нибудь известного репортера, знаменитого журналиста или собрать пресс-конференцию. Жолио-Кюри - фигура мирового значения, один из крупнейших ученых современности, к нему нельзя не прислушаться, хотя сам он как будто к публичности не стремится. У нас был вполне частный разговор.

Но как же тогда объяснить события, развернувшиеся три года спустя, когда 23 сентября 1949 года президент Трумэн объявил членам своего кабинета: "У нас есть доказательства того, что несколько недель назад в Советском Союзе состоялся атомный взрыв"? Из этого госсекретарь Дин Ачесон сделал естественный вывод: у русских появилось атомное оружие. "Чем спокойнее американский народ воспримет эту новость, тем лучше, - прокомментировал начальник Объединенного комитета начальников штабов генерал Омар Бредли. - Чего-то в этом роде мы ожидали все эти четыре года, так что нам нет нужды вносить существенные изменения в нашу оборонную стратегию".

Что прикажете думать? Выходит, Жолио-Кюри лгал? Или лгал Трумэн? Не знаю. Могу сказать только, что с подобной разведкой остается рассчитывать только на бога.

Вне всякого сомнения, наступила пора "штурма и натиска", и трудно представить себе нечто более радостное и вдохновляющее, нежели сознание того, что делаешь то, к чему призван, сражаешься за то, во что веришь, встаешь на сторону бедных и униженных - против расизма. Это придает ощущение подлинности жизни, укрепляет сознание и чувство причастности. А это главное - если ты всего лишь пылинка, отделенная от всех остальных, жизнь твоя есть сплошная боль и мучение. А у нас мук не было, мы больше смеялись, чем плакали, отдавая себе при этом полный отчет в том, что идем тем путем, который выбрали по своей доброй воле. Никогда, подчеркиваю, никогда коммунисты не покушались на государственные устои Америки, и если мы как нация погибнем (что, нажми кто-нибудь случайно на ядерную кнопку, может случиться), то причиной будет не враг, а собственная глупость.

ФБР играло с нами в дурацкие игры, и все эти годы, 1945 - 1952, худшие годы малого террора, деньги миллионов налогоплательщиков шли на то, чтобы преследовать нас, прослушивать телефоны, устраивать обыски дома. Все это осуществлялось под руководством маленького фюрера по имени Эдгар Гувер, который сам себе вместо реальной жизни придумал кошмар и переживал его изо дня в день.

В ФБР имелось мое досье - 1100 страниц, на которых в деталях описаны все или почти все добрые дела, которые я сделал в этой жизни. И если бы я думал, какое оставить внукам свидетельство того, что жизнь прожил не зря и для униженных и оскорбленных делал все, что было в моих силах, ничего лучшего, чем этот документ, я бы придумать не мог. В нем нет ничего, что можно истолковать как преступление, нарушение закона, даже как дурной поступок, не говоря уже об "антиамериканской деятельности". Образцом добродетели меня назвать трудно, мне приходилось делать многое, что достойно всяческого сожаления, но даже и намека на эти мои поступки нет в досье - одни лишь честные дела: выступления на собраниях по поводу жилья, деятельности профсоюзов, призывы к лучшему управлению страной, к свободе печати и собраний, к повышению минимума зарплаты, в защиту равных прав для белых и черных, против судов Линча, против несправедливости в любых ее формах, за мир и так далее. Ничего иного нет в этом кретинском документе. Между тем только он один, по самым грубым подсчетам, стоил американским налогоплательщикам не менее 10 миллионов долларов. Умножьте эту цифру в тысячи раз, имея в виду всех левых, за каждым шагом которых следило ФБР, сколько получится? Один мой приятель, сценарист Эд Энхелт работал в

России над большим телевизионным проектом "Петр Первый". КГБ приставил к нему людей, они следовали за ним по пятам в любое время суток, так что в конце концов Эд даже подружился со своим "хвостом". Как-то он спросил этих ребят, чего они к нему пристали, ведь он работает над русско-американским проектом. Гэбисты согласились, но пояснили: если не просить с каждым годом все больше и больше денег, их бюджет будет урезан. А коль скоро средства дают, надо их использовать, и в этом смысле московский десант американской телевизионной команды - золотая жила.

Думаю, в ФБР рассуждают аналогичным образом. Мы с Бетт давали бесчисленные приемы, рассчитанные на сбор средств в пользу испанских беженцев, несправедливо обвиненных или приговоренных черных, в пользу "Дейли уоркер", бастующих угольщиков... Мы жили в большой квартире и в просьбах предоставить свой дом для подобных мероприятий никогда не отказывали.

Наверное, в ФБР служили и приличные люди. Помню, однажды, накануне одного из таких приемов, я нашел в почтовом ящике карандашный портрет некоего типа с припиской: "Этот ублюдок - фэбээровец. Его подсылают, чтобы испортить вам вечер. Вышвырните его вон". Рисунок был точен, и гостя мы узнали без труда. Он незаметно скрылся; если что и можно поставить в заслугу агентам ФБР, так это вежливость - кроме тех случаев, когда им попадались левые-гомосексуалисты. Тогда они словно с цепи срывались.

По мере того как охота на ведьм приобретала все более широкие масштабы, и особенно с началом "инквизиции" в Голливуде, рос страх. Конечно, того, что было в гитлеровской Германии, здесь, в Америке, не было, но происходило нечто подобное. Как-то на одном многолюдном приеме мы с Бетт столкнулись лицом к лицу с Полом Стюартом, хорошим и широко известным актером, и хоть дружеские отношения между нами существовали издавна, он отвернулся и прошел мимо, явно не желая демонстрировать своим спутникам факт знакомства с такими людьми, как мы. Никогда я не обвинял тех, кто боится, - лишь безумцам неведом страх, но если величие человеческой натуры состоит в умении его побороть, то по этой части в послевоенной Америке наблюдался большой дефицит. И все же хорошие люди не переводились. Как-то мне позвонил и предложил встретиться где-нибудь в центре города, в баре, Роджер Баттерфилд, журналист "Лайфа", служивший там в звездные годы этого журнала. Взяв с меня обещание не

раскрывать источника информации, Роджер рассказал, что стал случайным свидетелем телефонного разговора Генри Люса с сенатором Маккарти, который выспрашивал у него, не является ли Икс коммунистом. Люс заметил, что у него есть знакомый в национальном комитете компартии, притом из первой десятки. И тут же набрал какой-то номер.

- Бен, это вы?

Кто такой Бен, и вообще не выдуманное ли это имя, так и не выяснилось, однако же Роджер немало рисковал, передавая мне эту историю. При этом он подчеркнул, что коммунизм его ничуть не интересует, но от просходящего в стране его тошнит, ни для кого не секрет, что партия нашпигована агентами ФБР.

Тем не менее приемы в нашей большой нью-йоркской квартире продолжались, гостей приходило много, и уж там не разберешь, были среди них фэбээровцы или нет.

Однажды мне позвонили из секции культуры с просьбой принять высокопоставленного чиновника из коммунистического Китая. Чан Кайши, правда, не оставил еще надежд взять власть в свои руки, но 90 процентов территории страны уже контролирвал Мао Цзедун.

Я сказал: да. И мы с Бетт засели за телефон и принялись обзванивать журналистов, редакторов, издателей, писателей. Рассылать приглашения времени уже не оставалось, тем не менее, пришло человек 60. Прием был назначен на 6 вечера, в качестве аперитива предлагалось только белое вино. Чиновник -- весьма лощеный китайский господин с живыми глазами на умном, далеко не молодом лице и длиннющими усами, появился на четверть часа раньше американцев. Его сопровождали два молодых китайских дипломата, сказавших мне на безукоризненном английском, что гость будет отвечать на вопросы по-китайски, а они переведут. Вскоре квартира заполнилась явно неравнодушной публикой - для большинства это было первое знакомство с человеком, представляющим новые китайские власти, и, кажется, этот воспитанный пожилой господин в великолепно расшитом шелковом одеянии произвел весьма благоприятное впечатление. На вопросы он отвечал непринужденно, даже грубая реплика Макса Лернера насчет коммунизма в одной отдельно взятой стране его не смутила, он с улыбкой сказал: "Поправка. В двух странах". Леонард Лайонз пошутил насчет сплетен, и чиновник тут же откликнулся: китайцы обожают сплетни. Сплетничают без устали.

К семи почти все разошлись, остались только китайский гость, его молодые переводчики и шестеро наших друзей. Один из переводчиков, наклонившись ко мне, спросил, кто это такие. Я

ответил - старые друзья, коммунисты. Услышав это, чиновник улыбнулся и на безупречном английском сказал, что теперь, когда прессы нет, можно расслабиться и перейти на английский. А раньше-то почему необходимо было говорить по-китайски, поинтересовался я. Гость пояснил, что этого требуют достоинство страны и его личное, к тому же так у него больше времени обдумать ответы на вопросы.

Время шло, никто из оставшихся уходить не собирался, и, отведя меня в сторону, Бетт сказала, что надо бы предложить гостям поужинать.

- Но ведь нас здесь одиннадцать человек, как мы всех накормим?

- А это уж моя забота. Твоя -- просто предложить.

Что я и сделал. Все охотно согласились. Бетт вскрыла три банки со свининой и горохом, переложила их в большую миску, верой и правдой служившую нам для таких случаев, извлекла из холодильника дюжину сосисок и сделала из всего этого нечто похожее на запеканку. Квартира наполнилась вкусным ароматом. Отведав стряпни Бетт, китайцы заявили, что ничего лучшего в Америке не едали.

Нам нравились такие посиделки, чем бы они в будущем ни грозили. Однажды Джессика Смит попросила нас принять офицеров русского торгового судна, и получился чудесный вечер. А в другой раз нашим гостем был Поль Робсон. Дочка взобралась к нему на колени. И он негромко напевал ей что-то.

Антифашистский комитет пригласил представлять свои интересы Джона Рогге, одного из ведущих юристов на Нюрнбергском процессе, человека, который неделями выслушивал свидетельства преступлений Гитлера и СС, собственными глазами видел ужасы концлагерей. Теперь такой же яд проник в нашу страну. Судьба Джона Рогге характерна для того времени. Соглашаясь защищать нас, он отказывался от собственной будущности. Одно дело - защищать гангстера, насильника, убийцу - это часть нормальной работы адвоката. Совсем другое - защищать коммуниста. Даже Роджер Болдуин, личность вполне достойная, основатель Американского союза гражданских свобод, наставляя своих молодых юристов в том смысле, что их святая обязанность представлять интересы любого человка, будь то даже нацист, чьи гражданские права ущемляются, для коммунистов делал исключение. Должен заметить, что со временем и Рогге раскаялся в своем мужестве и переметнулся на другую сторону, но тогда это был высокий, привлекательный, улыбчивый, с мягкими манерами человек, прекрасный юрист, полностью преданный, судя по всему, своей

профессии. На будущее наше он смотрел вполне оптимистически, не допуская даже мысли об обвинительном приговоре. Тем не менее 31 марта 1947 года Большое жюри признало всех нас, членов Исполнительного бюро, виновными не только в неуважении к Конгрессу, за что полагался год тюрьмы, но и в заговорщической деятельности, а эта статья предполагала до пяти лет заключения. Итого - шесть.

Это был тяжелый удар. За что шесть лет? Не за нарушение американских законов, а просто за отказ доносить на хороших людей, оказавших щедрую помощь жертвам Гражданской войны в Испании. Такое мне даже в голову не могло прийти. Теперь пришло. Мне почти тридцать три года, стало быть, когда выйду на свободу (если дадут максимальный срок), будет почти сорок. И все же подобная перспектива казалась смехотворно-немыслимой. В конце концов я - Говард Фаст. Мои книги расходятся по всему миру миллионными тиражами. Таких, как я, в тюрьмы не бросают. То есть, в других странах - возможно, но не в Соединенных Штатах Америки. Так я говорил Бетт, но, кажется, не убедил ее. Эта тихая, славная женщина, вышедшая из американской семьи среднего класса и вступившая в партию не по моему настоянию, но по собственному выбору, лучше меня понимала, что происходит.

Судебное заседание было назначено на 11 июня 1947 года в Вашингтоне. Председательствовать должен был судья Александр Холтцофф. Это был оголтелый антикоммунист, открыто заявивший, - если доводить его высказывания до логического конца, - что всех коммунистов надо расстреливать без суда и следствия, так что мы заявили отвод. Холтцофф отказался его удовлетворить и открыл заседание. Тогда Рогге подал письменный протест, на основании которого апелляционный суд приостановил-таки заседание в тот же день и потребовал замены председательствующего. Синдром судьи Холтцоффа был в те дни довольно распространенным явлением. Люди доводили себя до истерики в ненависти к Коммунистической партии и Советскому Союзу. Всего два года прошло, как Красная Армия разгромила гитлеровские войска и вместе с союзниками стерла нацизм с лица земли, а во время первомайских демонстраций на тротуарах уже выстраивались школьники с огромными плакатами в руках (явно изготовленными профессионалами): "ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ХРИСТА, УБЕЙ КОММИ". Вот в такой атмосфере нас и судили, судили, между прочим, не как коммунистов, таких обвинений не выдвигалось даже против меня и Барски. Иное дело - пресса; эти, словно псы, почуявшие запах крови, выливали на нас ушаты антикоммунистической лжи.

13 июня процесс возобновился, на сей раз под председательством судьи Ричмонда Кича. Это был сухой, неулыбчивый и довольно объективный человек. Пока мы, обвиняемые, сидели в приемной, ожидая вызова в зал заседаний, туда на инвалидном кресле вкатили мэра Бостона Джеймса Керли, которому предстояло выслушать свой приговор. Даже для продажного политика он позволял себе слишком много. Тем не менее, увидев перед собой инвалида преклонных лет, судья Кич приговорил его условно и, велев больше не грешить, отпустил на все четыре стороны. Наши дамы зашептались - видно, у судьи Кича доброе сердце. Доброе, откликнулся кто-то, - для продажных политиканов.

На сей раз я оказался в Вашингтоне без семьи. Кто знает, сколько времени продлится суд, мне вовсе не хотелось, чтобы Бетт и Рейчел томились в жаре этого города, который я к тому времени люто возненавидел. Не нужно думать, будто семейная жизнь в обстоятельствах, в каких оказались мы, это рай. Все меняется, и меняется быстро. Я уже больше не восходящая звезда американской литературы. Времена хвалебных рецензий прошли - "Американца" ругали на чем свет, ничего подобного в моей писательской карьере не было, ни до того, ни после. На скамью подсудимых меня привел собственный жизненный выбор.

Бедняга Бетт, мои несчастья она переживала вдвойне. Я более или менее свыкся с мыслью о тюрьме, романтически-самодовольно рассуждая сам с собою о том, что становлюсь в ряд таких достойных людей, как Торо, Том Пейн, Баньян и далее вглубь веков вплоть до Сократа. Но Бетт решительно не могла примириться с тем, что ее муж, любовник, соратник, защитник на шесть лет окажется в заключении. Это слишком жестоко, попросту невозможно. Перед отъездом в Вашингтон мы обнялись, а трехлетная дочь не сводила с нас глаз, не понимая, почему мама плачет.

Шестнадцать членов нашего комитета -- тогда еще нас было 16, это потом, уже после вынесения приговора, пять отколются, "купив" себе свободу, - итак, 16 человек сидели на своих местах в зале судебного заседания и наблюдали за процессом отбора жюри присяжных. Если у кого-то из нас еще и сохранялись какие-нибудь иллюзии, то в тот момент они рассеялись. Все было решено заранее - отбором дирижировали власти, все присяжные состояли на государственной службе. Припоминаю крупного, хорошо одетого, с бриллиантовым кольцом на пальце и тремя сигарами в нагрудном кармане пиджака, негра. Он пробудил во мне кое-какие надежды своим явно неприязненным отношением к государственному обвинителю. На вопрос о профессии он с легкой усмешкой ответил: "гробовщик". Ему был немедленно дан отвод. Итак, все двенадцать мужчин и женщин оказались белыми и, повторяю, все так или иначе работали на правительство Соединенных Штатов; иными словами, это было жюри, подобранное обвинением.

Сам суд протекал довольно вяло. Вступительному обращению Джона Рогге к присяжным, при всей его серьезности, явно не хватало огня. Вот что он, в частности говорил:

"Что привело сюда этих людей с разным прошлым и разным настоящим? Защита покажет, что, разумеется, не участие в заговоре, как на том настаивает государственное обвинение. Их привела сюда общая боль за судьбы антифашистов-беженцев из

франкистской Испании...

Защита покажет, что деятельность, которую Комитет по антиамериканской деятельности рассматривает как антиамериканскую, на самом деле является деятельностью патриотической.

Защита покажет, что Комитет, опираясь на выработанные им критерии, мог бы обвинить в антиамериканской деятельности таких выдающихся американцев, как Томас Джефферсон, Том Пейн и Авраам Линкольн.

Защита покажет, что Комитет уделил и продолжает уделять практически исключительное внимание расследованию, преследованию и ограничению деятельности людей и организаций либеральной ориентации, а отнюдь не фашистских группировок.

Далее защита покажет, что даже в этом последнем случае Комитет демонстрирует совершенно иной подход, относясь, верьте не верьте, к фашистам с уважением..."

В том же духе, выдвигая все новые и новые обвинения против Комитета, мистер Рогге продолжал и далее, совершенно упуская, как мне казалось, суть: виновны мы в неуважении к Конгрессу или невиновны? Но еще больше меня поразила позиция Бенедикта Вулфа, который вновь ни словом не обмолвился о Пятой поправке, хотя это вообще ставило под сомнение законность суда. Думаю, что Рогге, которого все еще преследовали кошмары Нюрнберга, после рассматривал это дело как эпизод борьбы между профашистским Комитетом и группой антифашистов; а вот поведение Вулфа до сих пор представляется мне загадочным.

Учитывая все это, исход предсказать было нетрудно. Мы вызвали множество свидетелей, которые под присягой подтвердили нашу гражданскую лояльность; никто из нас не совершал правонарушений; никто не отличался дурным поведением в быту. Насколько это дозволял судья, свидетели также упрекали Комитет по антиамериканской деятельности, но все это мало что меняло.

Напутствуя жюри присяжных, судья Кич начал с того, что отмел обвинение в заговорщической деятельности. По другому пункту, неуважение, он пояснил, что отказ отвечать на вопросы и предоставлять комитету Конгресса документы, имеющие отношение к делу, должны рассматриваться как таковое. Присяжные удалилось в совещательную комнату.

Чтобы немного разрядить обстановку, я предложил желающим заключить пари на доллар: сколько времени понадобится, чтобы вынести вердикт. Мнения разошлись: от

двадцати минут (мое предположение) до семи часов. Профессор Бредли сказал - час и, поскольку оказался к истине ближе всего (жюри заседало сорок пять минут), был объявлен победителем. Разумеется, присяжные пришли к единодушному решению: виновны. Тем не менее, я был настолько рад (и настолько легкомыслен) тому, что отпало обвинение в заговоре, что это меня ничуть не задело. Самое большое, что могли дать по этой статье, - год тюремного заключения. Учитывая, что светило шесть, такой приговор казался избавлением. Дав подписку о невыезде, большинство из нас в тот же вечер поездом оправились в Нью-Йорк. Через несколько недель был оглашен приговор суда: десятерым - три месяца тюрьмы, доктору Барски - шесть. Приговор был тут же обжалован - сначала в апелляционном суде, затем, после отклонения апелляции, в Верховном суде США. Там, однако, дело принять к рассмотрению вообще отказались. Отбывать срок нам предстояло с конца весны 1950 года.

Через некоторое время после описанных событий я получил телеграмму от Фредерика Жолио-Кюри с приглашением принять участие в крупной международной конференции в защиту мира, которая должна была открыться в Париже 20 апреля. Решив, что крупная международная конференция вполне может обойтись без Говарда Фаста, я приглашение отклонил. Но Жолио-Кюри моего отказа не принял и телеграфировал вновь: "Настаиваю Вашем личном участии в парижской конференции. Жолио-Кюри".

Телеграммы производят на меня впечатление, есть в них то же, что и в письмах от адвокатов: они порождают чувство долга. Тем не менее, я продолжал сомневаться, но Бетт считала, что я не имею права отказываться.

Я ответил Жолио-Кюри 1 апреля 1949 года: "Получил вашу телеграмму. Постараюсь, по возможности срочно, получить заграничный паспорт. Как ни странно, трудность в настоящий момент заключается не столько в позиции Госдепартамента, сколько в приговоре суда, по которому я должен отбыть тюремный срок. Чтобы получить паспорт, мне нужно прежде всего разрешение судьи выехать из страны".

Первая попытка получить паспорт оказалась неудачной, но, когда я сообщил, что мне поручено освещать ход конференции на страницах "Дейли уоркер", судья Кич и Госдепартамент уступили. Паспорт был действителен всего на месяц. И это был последний паспорт, который мне довелось держать в руках на протяжении последовавших 11 лет. Однако еще до моего отъезда произошло событие, о котором доныне никому не было известно. Меня пригласили к Полу Новику и Хайму Шуллеру, двум крупным партийным функционерам, руководителям еврейской секции

компартии. В то время тысячи евреев, говоривших на идиш, работали в различных отраслях легкой промышленности, в том числе табачной и обувной. Партия издавала газету на идиш - "Freiheit" - одно из целого ряда левых изданий на иностранных языках. По мере того, как иностранные рабочие -- евреи, венгры, поляки, итальянцы -- старели и умирали, прекращали существование и их газеты, представлявшие в свое время живую, яркую часть американской истории, которой почему-то почти не уделяется внимания. Такую же судьбу разделила и "Freiheit", но тогда, в 1949 году, это было еще вполне энергичное издание с небольшой, но устойчивой читательской аудиторией. Еврейская секция представляла собой одно из иноязычных отделений партии, в Нью-Йорке - самое крупное. Новик входил в Национальный комитет компартии США и в качестве такового представлял ее руководство. Шуллер был его заместителем.

Мы были только втроем, и Новик заявил, что выражает мнение Национального комитета, который, после продолжительной дискуссии решил от имени Коммунистической партии США, входящей в братский союз компартий мира, выдвинуть обвинение в антисемитизме против Коммунистической партии Советского Союза.

Совершенно потрясенный, я лишь недоверчиво покачал головой.

- Этого не может быть, - пробормотал я. - Бред какой-то.

- Не бред, - возразил Новик. - Неужели ты думаешь, что мы можем выдвинутть подобное обвинение, не имея серьезных доказательств? Они у нас есть. Мы ведь не говорим о нашей партии, или о французской, или об итальянской - мы говорим только о Советах.

- Но ведь это - центр движения.

- Нет, - оборвал меня Новик. - Центр - мы. Мы сами отвечаем за собственные действия. Если Советам не хватает исторической проницательности, чтобы должным образом оценить последствия своей политики, наш долг - критиковать их.

- Ну а я-то здесь при чем? - слабо выговорил я.

- Ты едешь в Париж. Советы посылают туда большую делегацию. Попроси людей из компартии Франции, которые будут ее опекать, устроить тебе встречу с руководителем. Тебе предоставляются все полномочия, ты - представитель Национального комитета нашей партии и в качестве такового сделаешь заявление в том духе, как я сказал: мы обвиняем руководство Коммунистической партии Советского Союза в вопиющих актах антсемитизма и отклонении от ленинских норм. Ты должен осознать серьезность этих обвинений, как и их

конфиденциальность. Если это станет достоянием прессы, последствия могут оказаться самыми печальными.

Такова суть разговора. Далее мои собеседники мотивировали свою позицию: фактическое прекращение деятельности в Советском Союзе любых еврейских организаций, закрытие газет на идиш, исчезновение некоторых крупных деятелей, евреев по национальности, признаки - хотя достоверно и не подтвержденные - того, что некоторые военные - евреи, люди с большими заслугами перед армией, арестованы и расстреляны. Творятся ужасные вещи.

Так передо мной, как и перед другими коммунистами, встал тяжелейший вопрос: следует ли рассматривать такие явления - а доказательства их существования представлялись пока весьма смутными - как органический порок всей системы или это лишь печальное отклонение от нормы? Быть может, это чисто советский опыт, его надо учитывать и пытаться исправить положение? Задним умом всякий крепок. Я сказал Новику и Шуллеру, что приложу все усилия, чтобы выполнить поручение.

В те времена трансатлантический перелет все еще представлял собой довольно опасное приключение. Однажды я уже проделал такой путь, и мне этого показалось достаточно. Так что я заказал билет на "Куин Мэри", где моим соседом по каюте оказался промышленник и меценат сэр Виктор Эллис Сассун, последний в знаменитом еврейско-английско-индейском роду. Впрочем, тогда у меня не было ни малейшего представления о прошлом этого симпатичного, сильно в годах, господина, точно так же, как и у него - о писателе-коммунисте, с которым свела судьба на время поездки. А расспрашивать друг друга мы посчитали неприличным. Он удовлетворился тем, что я - писатель, я - что у его семьи есть интересы на Дальнем Востоке.

Едва корабль вышел в открытое море, как меня разыскал некий Мелвин Джонсон, с которым я познакомился в 1945 году во время своей командировки в Азию; сейчас он работал в каком-то государственном учреждении, в каком именно, не сказал. Думаю, это было ЦРУ. Он предложил втроем - ему, мне и корреспонденту "Нью-Йорк дейли ньюз" Роберту Конвею сесть за один стол, а то, глядишь, с какими-нибудь немыслимыми занудами усадят. Это было первое в моей жизни путешествие на столь роскошном лайнере, так что я почел за благо принять совет. На вид Джонсон был славным, ненавязчивым человеком, к тому же, повторяю, он был знаком мне по лучшим временам, так что собственные подозрения меня мало смущали. Что же касается Боба Конвея, здоровенного добродушного ирландца, то с ним мы сошлись сразу. Можно даже сказать, что за пять дней путешествия

сделались друзьями, хотя больше не встречались ни разу в жизни.

Наш столик представлял собой постоянно действующий "круглый стол":

Фаст - коммунист, Конвей - газетчик старой школы, готовый выслушать любую точку зрения, Джонсон... ну, его по-всякому можно назвать, но живости нашим разговорам он явно добавлял. Должен сказать, что на всем протяжении малого террора - я называю его так в сопоставлении с большим террором Адольфа Гитлера - я практически не сталкивался с проявлениями личной неприязни. В большинстве своем люди считали коммунистов просто либералами, которых занесло влево больше обычного. Во плоти коммунист вообще не существует; это символ, семантический образ, идея, пароль; лишь однажды, это случилось в тюрьме, я ощутил нескрываемую ненависть - она исходила от ополоумевшего преступника, ранее хозяина гаража, который досиживал двадцатилетний срок за убийство жены; он грозился прикончить Альберта Мальца и меня именно потому, что ненавидит коммунистов.

По мере сближения с Бобом Конвеем мною все больше овладевала одна занятная мысль. Почему бы нам вдвоем после закрытия Конгресса не отправиться в Советский Союз? Будем писать оттуда репортажи. "Дейли ньюз" печатает рядом с его колонкой мою. "Дейли уоркер" рядом с моей - его. Я был уверен, что своих коллег уговорю. Но вот согласится ли "Ньюз"? Конвей увлекся идеей и тут же связался по радиотелефону со своим редактором, который ответил примерно следующее: "Ты что, совсем рехнулся? Фаст предлагает тебе 50 тысяч читателей. А ты ему - миллион". На том все и кончилось. На третий день пути Боб сказал мне, что наткнулся среди пассажиров на своего знакомого - совладельца одного из предприятий империи Моргана. Вообще с нами путешествуют трое его людей, и этот самый знакомый спросил, не согласится ли Говард Фаст выпить с ними по рюмке.

Почему бы нет? Тем более, что я и не мечтал взглянуть в глаза "дракону", да еще когда он платит за выпивку. "Дракон" состоял из трех дружелюбных симпатичных джентльменов, каждому лет за сорок. Они засыпали меня бесконечными вопросами; любопытство их казалось неиссякаемым. Будет ли, с моей точки зрения, в Америке продолжаться террор и не превратится ли она во вторую Германию? Как чувствует себя человек, приговоренный к тюремному заключению? Сохранится ли партия? Будет ли война с Россией? Есть ли, на мой взгляд, будущее у американской демократии? Приходило ли мне в голову до войны, что события повернутся именно таким образом? На многие из этих вопросов у меня, как и у них, ответа не было.

Но что поразило - они разделяли мои тревоги. А ведь это люди Моргана, одного из крупнейших в мире магнатов, - им-то чего бояться?

"Фашизм не разбирает", - пояснил один из них. А ведь прошло всего четыре года, как Гитлер погиб в своем берлинском бункере. Эти трое были люди хорошо образованные и проницательные, они внятно отдавали себе отчет в том, что именно происходит в Вашингтоне. Презирали Трумэна и считали, что это он за все в ответе. Никаких антикоммунистических эмоций не обнаруживали; с другой стороны, какая им корысть от дружеской беседы с человеком вроде меня? Никакой. А ведь сами проявили инициативу. В какой-то момент один из них заметил: "Мы постоянно читаем вашу газету. А вы нашу?"

Он имел в виду "Уолл-стрит джорнэл", и мне пришлось признать, что заглядываю в нее лишь время от времени. Впрочем, и в том, что они каждый день открывают "Дейли уоркер", я усомнился и поинтересовался, что они, собственно, ищут в этой газете. Ответ: есть только два издания, где говорят правду и на которые можно положиться: это "Уолл-стрит джорнэл" и "Дейли уоркер".

Как романисту, этот эпизод показался мне занятным, и впоследствии я не раз возвращался к нему, думая о том, как же отличаются эти воспитанные и приятные люди от школьников, размахивающих грязными плакатами. Полагаю, они были куда более убежденными и серьезными антикоммунистами, нежели уличный сброд. Сброд разного социального положения - это палачи инквизиции; ну, а мои новые знакомцы сидят за одним столом с испанской королевой Изабеллой. Руку помощи они мне не протянут, как не протянет ее, положим, и Ричард Никсон, однако в беседе один на один ведут себя как цивилизованные и порядочные люди. Они видят во мне не боевика-бомбиста, но соперника. И не ставят себя в положение судей; они заинтересованы в прибыли, а в мире денег прибыль извлекают не из невежества, но, напротив, из умения верно оценить реальное положение вещей. В общем, это люди заинтересованные и уважающие собеседника; а бандитским делом пусть занимаются другие.

Вскоре случился еще один эпизод, как бы подтверждающий это распределение обязанностей. В те дни трансатлантические лайнеры шли в Шербур, и уже оттуда пассажиры направлялись речным кораблем, или даже, скорее, речным трамваем, в Париж. Места на этот корабль резервировались еще на борту лайнера в последний день путешествия. Когда я зашел за своим билетом в кассу, там оказалось много - чего это их сюда принесло? -

моряков и все они весело улыбались. Случилось что-то явно смешное, но что именно - я понятия не имел. Лайнер пришвартовался, мы прошли таможенный контроль, я попрощался с Бобом Конвеем и Мелвином Джонсоном, хотя вскоре выяснилось, что и они, и трое людей Моргана, и еще несколько человек, с которыми я познакомился на "Куин Мэри", едут в Париж тем же рейсом, что и я. Ну что ж, отлично. Странность, однако, заключалась в том, что у них билеты были в общий салон, а у меня - в каюту в носовой части корабля. Каюта была рассчитана на шестерых, я, похоже, оказался первым, но, поскольку торчать там одному мне совсем не улыбалось, я забросил чемодан на полку и вернулся к друзьям.

Улыбки. Смешки. Что так веселит людей - непонятно, но вопросов от меня они не дождутся. Корабль отчалил. В общем салоне оставались еще свободные места, и я решил сходить за багажом, чтобы присоединиться к остальным. Теперь в каюте обнаружилось пять человек - внушительного вида пожилой господин, дама примерно тех же лет - наверное, жена, - и молодая пара с ребенком.

- Чем могу быть полезен? - осведомился, увидев меня по пороге, пожилой господин.

- Это мое место, - я ткнул пальцем на свободное сиденье.

- Не может быть. Это наша каюта.

- Это мое место, - уже с раздражением повторил я. - Я заплатил за него. Вот мой билет. И я еду здесь.

- Что ж, придется позвать кондуктора.

- Можете никого не звать, - огрызнулся я. - Права свои я заявил, а путешествовать вместе с такими невоспитанными людьми у меня никакого желания нет. Валяйте, занимайте свою паршивую каюту.

С этими словами я вышел и вернулся к друзьям, которые при моем появлении уже не заулыбались, а прямо-таки покатились со смеху. И чего же все-таки они так веселятся? Я повернулся к Бобу Конвею. Справившись со смехом, он спросил, известно ли мне, кто едет в той каюте?

- Нет.

- Уильям Аверелл Гарриман.

- О Господи!

- А что такого: Гарриман - мультимиллионер, Фаст - коммунист...

Но мне было не до смеха. Из людей во власти Гарримана я уважал больше всех, он занимался ленд-лизом, в немалой степени способствовал успешной обороне Англии, был послом в Советском Союзе в самые тяжелые месяцы войны и одним из

немногих людей, чье достоинство и честность не подвергались сомнению. А тут тебе - хвастунишка и грубиян по фамилии Фаст. По пути в каюту я столкнулся с кондуктором и, на сей раз вежливо постучавшись, вошел с уже заготовленной покаянной речью. Но, не дав мне и рта открыть, Гарриман поднялся на ноги.

- Примите наши самые искренние извинения, мистер Фаст. Мы понятия не имели, кто вы, но в любом случае я вел себя непозволительно и...

Я пытался остановить его, объяснить, что это чья-то дурацкая шутка, но они с женой упорно убеждали меня остаться в каюте. Мне с трудом удалось, со своей стороны извинившись, откланяться.

У меня были ключи от квартирки в Пасси, куда меня на время работы конгресса пустил доктор Морис Сигаль, брат того самого капитана Сесиля Сигаля, который познакомил меня с Жолио-Кюри. Тут следует отметить, что именно Фредерик Жолио-Кюри был председателем Международного конгресса в защиту мира - по-видимому, самого представительного и крупного собрания приехавших в Париж из разных стран писателей, художников, ученых, журналистов, врачей, людей театра и кино, ведущих политиков и общественных деятелей. Соединенные Штаты прислали всего 56 делегатов, представители Англии и континентальных стран Европы исчислялись сотнями. Создавалось впечатление, что не было в мире ни единой сколько-нибудь заметной фигуры, которой не оказалось бы в эти дни в Париже. В оргкомитете Америку представляли профессор Колумбийского университета Джин Уэлфиш, доктор Дюбуа, профсоюзный лидер Доналд Хендерсон, писатель Альберт Кан, епископ Моултон, Поль Робсон и я. А помимо нас, напоминаю, было еще 50 человек, все - с именами. Это я для тех, кто рассматривает Конгресс - да и вообще движение за мир - как часть коммунистического заговора.

Расположившись наспех и поспав (совсем немного, впрочем, ведь это был апрель и это был Париж, где я оказался впервые), я с утра отправился в оргкомитет, где мне вручили удостоверение - картонную карточку, пять на восемь дюймов, на лицевой стороне которой было написано мое имя, оборотная же оставалась чистой. Обращаю на это внимание потому, что познакомился на конгрессе с Пабло Пикассо. Он обнял мня, поцеловал прямо в губы - никогда еще так не приветствовали меня мужчины - и сказал: "Приходите ко мне в студию. Я хочу вам что-нибудь подарить. Возьмете, что приглянется".

Несчастный дурак по имени Говард Фаст, в согласии с идиотскими принципами щепетильности, ответил: "Нет, нет, ни

за что. Я не могу себе позволить воспользоваться вашей щедростью. Нет. Разве что вы подпишите мою карточку". Я протянул ему перо, и, не отрывая его от бумаги, одним росчерком он нарисовал чудесную голубку и поставил свое имя. Рядом оказались Арнольд Цвейг и Пабло Неруда, впоследствии Нобелевский лауреат; каждый из них рядом с подписью Пикассо оставил свой автограф. Я был растроган, польщен, обрадован. Эту карточку я не променял бы ни на одну из работ Пикассо. Вернувшись домой, я застеклил и обрамил ее, но впоследствии она погибла при пожаре.

Честно говоря, мои корреспонденции в "Дейли уоркер" мало напоминали отчет о событии, оно и понятно. В Париже жили герои Сопротивления, люди, пережившие не малый, как в Америке, террор, но нацистскую оккупацию, мужчины и женщины, жизни своей не щадившие и видевшие, как мучают и убивают их товарищей. Фредерик Жолио-Кюри, например, во время оккупации занимался боеприпасами и собирал бомбы в подвалах Лувра. Как я уже сказал, он руководил работой конгресса, а сопредседателем был Луи Арагон, оказавшийся чудесным, неотразимо обаятельным человеком. Подобно другим французским коммунистам - участникам конгресса, Арагон участвовал в Сопротивлении. Однажды он пригласил меня к себе, и стоило нам выйти из зала заседаний на улицу, как на него обрушился град приветствий, люди выглядывали из окон, размахивали руками - словно большая дружная семья собралась. Скромная квартира, где Арагон жил со своей женой Эльзой Триоле, была набита книгами и напоминала скорее библиотеку, чем жилье.

Вместе с другими руководителями конгресса Арагон сидел в президиуме и, если только внимание его не привлекало чье-нибудь особенно яркое выступление, все время что-то писал.

- Зачем вам это надо, Луи? - спросил я его однажды. - Ведь для этого стенографистки существуют.

- О чем это вы?

- О том, что вы все время что-то записываете.

- А, так это я новый роман пишу. Когда же еще этим заниматься?

И я здесь, среди этих людей, - не политический отщепенец, как в Америке, но почитаемый и даже любимый гость. Конгресс предполагалось завершить митингом на огромном стадионе на окраине Парижа, меня попросили выступить от имени американской делегации.

Накануне меня пригласил на ужин Рено де Жувенель, выходец из аристрокатического рода, коммунист, живший в

старинном фамильном особняке. Он угостил меня чудесной гусиной печенкой, за которой последовали антрекот и на десерт - вкуснейшие ватрушки. Рено предложил перевести мое выступление на французский, расставив правильные ударения. В общем, получилось так, словно я, пусть и неважно, но говорю по-французски. Помимо того, он сообщил, что поручение, данное мне Национальным комитетом нашей партии, поможет выполнить Лоран Казанова. На следующий день он представил меня ему. Это был высокий, статный привлекательный мужчина. Просьбу мою он выслушал совершенно бесстрастно; кстати, хорошо, что Жувенель был рядом, потому что Казанова либо не говорил, либо не хотел говорить по-английски.

Советскую делегацию на конгрессе возглавлял Александр Фадеев. Я сказал, что нужно защищенное от прослушивания помещение, и хорошо бы, чтобы Фадеев привел переводчика. С такого рода просьбой я обращался впервые в жизни, и меня немало удивило, с какой серьезностью отнеслись к ней Жувенель и Казанова. "Мы рассматриваем союз компартий как союз равных, - сказал мне впоследствии Жувенель, - и Казанове вы понравились". Не знаю уж, чем. Я, со своей стороны, всегда ощущал некоторую робость в присутствии мужчин и женщин, жизнью своей рисковавших во время фашистского нашествия. Казанова организовал встречу с Фадеевым на следующий же день, что меня несколько смутило, ибо как раз накануне русские дали роскошный прием в честь американской делегации. Он проходил в прекрасном ресторане, открытом белогвардейцами после 1917 года. Его убранство соперничало с убранством лучших парижских ресторанов. Меня удивило, как непринужденно общаются белые и красные. Было много выпивки, много тостов, некоторые из них произносил Фадеев. Это был высокий, очень красивый мужчина, с лицом, словно высеченным из камня, пронзительными голубыми глазами и копной седых волос.

На следующий день за мной зашел Жувенель и проводил в небольшое подвальное помещение в Плейель, которое, как меня заверили, не прослушивается. Жувенель ушел, и я остался с Фадеевым и переводчиком. Нельзя сказать, будто я нервничал, однако же и спокоен не был, смущение оставалось. Начал я с того, что мне поручено выдвинуть формальное обвинение против Центрального комитета компартии Советского Союза. Прозвучало это сильно, мне пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я действительно сказал эти слова. Их перевели. Фадеев ненадолго задумался и кивком головы дал понять, что готов выслушать меня.

- Записывать будете? - спросил я.

- А вы?

- В данных обстоятельствах, разумеется, нет.

- В таком случае и я не буду. Кто-нибудь из французских товарищей знает, о чем идет речь?

- Нет. Дело сугубо конфиденциальное, я получил на сей счет строгие инструкции.

- Отлично. Слушаю вас, - голос Фадеева звучал совершенно ровно. Он сохранял полное хладнокровие.

Я сразу взял быка за рога:

- Наш Национальный комитет обвиняет советское руководство в антисемитизме и нарушении основ социалистической этики, что представляет собой серьезную угрозу мировому коммунистическому движению. - Я выпалил это одним духом и, только закончив, ощутил некоторое волнение и даже страх. Не спрашивая ни у кого разрешения, я облек обвинительное послание в более или менее приличную форму, придал ему хотя бы легкий оттенок уважительности; однако же, хоть и приходилось мне слышать, что в принципе компартии рассматривают друг друга как равноправных партнеров, как это выглядит на деле, я не знал. Фадеев же, о чем мне сказали заранее, является депутатом Верховного Совета СССР.

Он снова задумался, слегка прикрыл глаза, принялся что-то мурлыкать под нос - раздражающая привычка - и конце концов сказал:

- В Советском Союзе нет антисемитизма.

- И это все?

Переводчик перевел мой вопрос.

- В Советском Союзе нет антисемитизма.

Вспоминая эту историю, я поражаюсь тому, как разозлили меня тогда эти слова. Накануне отъезда из Нью-Йорка мне представили доказательства обвинения. Из них следовало, что восемь крупных военачальников-евреев были арестованы, как выяснилось, по ложным обвинениям. Газеты на идиш подвергаются гонениям. Было и что-то еще, тогда я все заучил наизусть, хотя сейчас подробности забылись. Но, быть может, еще больше меня поражает то, что, услышав ответ Фадеева, я не отступил. К Советскому Союзу я относился с огромным уважением. В моих, как и тысяч других американцев, глазах это был бастион социализма. Я продолжил:

- Как же так? Весьма ответственные товарищи поручают мне выдвинуть против вашего руководства серьезные обвинения - особенно серьезные на фоне истребления шести миллионов евреев в нацистских концлагерях, - а вы просто заявляете, что в СССР нет антисемитизма? Что же, и мне прикажете вернуться

домой и просто сказать: в СССР нет антисемитизма? Но ведь у нас есть доказательства обратного. - Я перечислил их. - Быть может, и не все из этого правда, но почему вы отказываетесь говорить об этом?

- Потому что в Советском Союзе нет антисемитизма. - На сей раз в голосе Фадеева прозвучало легкое раздражение.

Я понял, что дальнейший разговор лишен смысла, Фадеев с места не сдвинется. Я вернусь домой и предстану перед Полом Новиком и Хаймом Шуллером, двумя хорошими людьми. Фадеев, со своей стороны, вернется домой и предстанет - перед кем? Не знаю. Можно допустить, что лично он ничего не знает о проявлениях антисемитизма в России. Семь лет спустя, после доклада Хрущева на XX съезде партии о сталинских преступлениях, Фадеев взял пистолет и вышиб себе мозги.

Но сейчас, в апреле 1949 года, я получил ответ, который на самом деле никаким ответом не был, и, возвращаясь с этого свидания, чувствовал, что меня охватывают все большие сомнения. Фадеева на Западе уважают, как мало кого из русских, - за честность, храбрость в борьбе с фашизмом, спокойствие, достоинство, с каким он представляет свою страну. Быть может, Новик с Шуллером заблуждаются? Россия более чем двадцатью миллионами жизней своих сограждан заплатила за победу над нацизмом. Мне было также известно то, о чем многие забыли, - в самый разгар войны Россия переместила три миллиона польских и украинских евреев в глубь страны и таким образом спасла им жизнь. Так где же все-таки правда? Сказал ли я в Париже правду или меня просто обвели вокруг пальца, не в первый, честно говоря, раз в жизни?

Рождество. Подходит к концу этот странный 1949 год. Люди искусства - актеры, писатели, художники, танцовщики - в большинстве своем романтики. У всех у нас обостренное самосознание, и по крайней мере 1000 из 1100 членов культурной секции компартии США в этом смысле не исключение. Среди равнодушных, а их подавляющее большинство, мы ощущали себя кружком посвященных - кем-то вроде ранних христиан; и право, нам казалось, будто, толкуя без устали о братстве и жертвенности, именно им мы и уподобляемся, а уж еврей ты или нет - значения никакого не имеет. Единственное место, где я ощущал такую же сострадательность к униженным и оскорбленным, как среди коммунистов, - это Общество примирения, религиозно-пацифистская организация, в которой я состоял более 30 лет.

Однако же наше правительство выворачивало все наизнанку и представляло нас бандой преступников либо кукол, чьи

кукловоды сидят в Москве. Рождество для нас не было связано ни с одной из официальных конфессий; просто это был праздник веры и любви. Большинству из нас было за 30 - поколение Великой депрессии и войны. Нашим детям было по три, четыре, пять, шесть, семь лет. На Рождество мы переходили, нагруженные подарками, из дома в дом. Евреи среди нас остро переживали Холокост, и прятать голову под крыло или возводить вокруг себя стену мы не собирались. На свете существовало только три места, где даже отдаленно не пахло антисемитизмом - компартия, театр и Общество примирения.

Теперь мне кажется, что мы обманывали себя, но тогда это было неизбежно. Мы никак не могли примириться с тем, что соотечественники полностью отвернулись от нас - то ли из равнодушия, то ли поверив массированному наступлению средств массовой информации, которые по-прежнему выливали на коммунистов ушаты грязи. Мы оказались в самом центре крупнейшей в американской истории кампании ненависти, и НИ ОДНА КРУПНАЯ ГАЗЕТА в США не напечатала ни единого слова в нашу поддержку.

Итак, мы собирались на Рождество с ощущением избранности и с верой в то, что за нами невидимо стоят миллионы. Только эти миллионы так и не материализовались, и когда Вито Маркантонио заявил в Конгрессе, что "защита коммунизма - это передняя линия борьбы за американскую демократию", его коллеги промолчали.

На сей раз Санта-Клаус принес нам из венгерского посольства ящик токайского, сделанного из винограда, который вырастили в садах императора Франца-Иосифа. Вообще-то мы с Бетт не любим сладких вин, но это было не сладкое вино - чистый нектар. Русские тоже не подкачали. Двое молодых людей из консульства появились у нас дома с двумя килограммами черной икры и шестью бутылками водки - царский подарок.

Услышав внизу голоса, вышла из своей комнаты Рейчел, которой было уже почти шесть лет. Решив, как настоящая хозяйка, достойно встретить гостей, она засунула в рот сразу три надувных жвачки. Русские, не заметив поначалу небольшого флюса, широко заулыбались, а мы с Бетт наблюдали за тем, как флюс неуклонно увеличивается, с ужасом. И все равно с ужасом русских, который обуял их, когда пузырь с шумом лопнул, его не сравнить. Они были в шоке: дочь Говарда Фаста и жует резинку!

- Знаете что, - сказал я им, - когда-нибудь этой идиотской "холодной войне" придет конец, и вот тогда-то вы начнете покупать у нас жвачку тоннами.

- Ни за что! - дружно воскликнули они. - Никогда!

В каком-то смысле этот "содержательный" спор (в котором я оказался-таки прав) характеризует то странное время. Мы знали Россию так же плохо, как русские Америку; они видели в нас варваров, и символом варварства сделалась жвачка. Именно в этом качестве она нередко выступала в публикациях Ильи Эренбурга. Как-то в Париже Арагон пригласил нас вместе на ужин. Искушение было слишком велико, и я обегал полгорода, пока не нашел американскую жвачку. Устроились мы в ресторане на левом берегу, где Арагона принимали по-королевски, а кормили и поили нас так, как давно уж не приходилось есть и пить. Покончив с едой, Эренбург с Арагоном закурили, а я с нарочитой медлительностью полез в карман, извлек пачку жевательной резинки, надорвал обертку и предложил пластинку Эренбургу. Отпрянул он с таким ужасом, будто я положил на стол гранату; Арагон расхохотался. В общем, мне пришлось извиняться за неудачную шутку, и не уверен, что Эренбург простил меня.

По правде говоря, я не верил, что попаду-таки в тюрьму. Заграничные публикации по-прежнему приносили мне неплохие деньги. Мы с Бетт устраивали званые вечера, хотя в последнее время гостями оказывались в основном коммунисты. По улицам не расхаживали отряды коричневорубашечников, а если кто-то из прежних знакомых и отдалился, то сделано это был отнюдь не демонстративно, без вызова: извините, мол, сегодня никак не получается, может, в другой раз. Имена людей, оказавшихся в черных списках за отказ либо называть "сообщников", либо подписывать дурацкие обязательства, постепенно исчезли с газетных полос, и большинство населения вздохнуло с ощущением смутного, но покоя: правительство победило крохотную партию коммунистов. И хотя демократия и конституционные права граждан медленно и незаметно подвергались эрозии, хотя "либералы", повернувшиеся к партии спиной, радовались каждому успеху минитеррористической кампании как новой победе демократии над коммунизмом, жизнь шла своим чередом.

Как же тут поверить в тюрьму? К тому же не следует забывать, что трое из осужденых были врачами, один - главой крупной университетской кафедры, остальные - тоже люди с именами, да и в возрасте. Я был среди них самым молодым, и все, с кем бы я на эту тему ни заговоривал, в один голос уверяли, что таких людей в тюрьмы, да еще по политическому обвинению, не сажают. Где угодно, только не в США.

Наши адвокаты подготивили апелляцию в высшую судебную инстанцию страны - Верховный суд. Им предстояло убедить судей, что в данном случае нарушены конституционные права

граждан. Решения Верховного суда объявлялись обычно по понедельникам, и на протяжении всех первых месяцев нового, 1950 года в этот день мы с Бетт засиживались допоздна, чтобы не пропустить утреннего выпуска "Нью-Йорк таймс".

Напрасные, как выяснилось, были хлопоты. В понедельник 5 июня раздался звонок из Вашингтона: наш запрос отклонен. Седьмого мне надлежит быть в Вашингтоне, где меня препроводят в тюрьму.

В оставшиеся три дня нужно было переделать кучу дел, тем более что теперь я был совершенно не уверен в том, что выйду на свободу через три месяца; времена такие, что, может, и вообще не выйду.

Утром в среду, когда все еще спали, я выскользнул из дома, схватил такси и отправился на Пенсильванский вокзал. В поезде встретился с двумя товарищами по несчастью. Остальные были уже в Вашингтоне. Наши адвокаты подготовили еще одну, последнюю апелляцию, но судья Кич отказался рассматривать ее.

- Ну и что теперь? - спросили мы своих адвокатов.

- Тюрьма.

Мы проследовали в подвальное помещение суда, где у нас вновь сняли отпечатки пальцев. Вновь - потому что при аресте мы все это уже проходили в генеральной прокуратуре. Ненавижу эту процедуру: дактилоскопические чернила - такой же символ, как и наручники; людей низводят до положения клейменого скота. Потом женщин отделили от мужчин, на всех надели наручники. Меня приковали к Лаймону Ричарду Бредли, которого все называли Диком. Отныне мы с ним составляли неразлучную пару - в силу прихоти алфавита: Ауслендер - Барски - Бредли - Фаст. Я не жалуюсь - более образованного, симаптичного, философически настроенного спутника пожелать трудно. Дик воспринимал все с чисто научным интересом и неизменным любопытством, свойственным ученому.

После снятия отпечатков нас запихнули в какую-то клетку вместе с другими: иные были, вроде нас, осужденными; другие дожидались суда или слушаний, и поместили их сюда, потому что они считались буйными. Отсюда в наручниках и под охраной нас отправили в окружную тюрьму. Теперь, в автобусе, мы вновь собрались вместе - женщин присоединили к нам. В тюрьме их отвели на женскую половину, и больше до выхода на свободу мы их не видели.

Раньше я думал, что тюрьма в округе Колумбия небольшая, даже не тюрьма - так, "исправительное заведение", но оказалось - огромное кирпичное здание, вооруженные часовые, длинные ряды камер и теснота, необычайная теснота - мышь не проскочит, даже

если какой-нибудь обезумевшей мыши вдруг приспичит бежать. Нас провели через зарешеченные ворота, потом другие, третьи. С каждым шагом все меньше чувствуешь себя человеком - так воздействует тюрьма. Тут смотрят сквозь тебя, сверху вниз или снизу вверх, но никогда - на тебя, то есть как на человека.

Дошли до коридора, и там открылся вид, который я до сих пор забыть не могу, а ведь сколько лет прошло. В конце коридора - большое помещение, в нем на скамейках сидят примерно сто мужчин, белые и черные, и все голые. Сидят, понурившись, низко опустив головы - как в нацистских концлагерях.

Нам тоже велели раздеться. Вместе с одеждой ушли последние остатки достоинства. Я гол и голы все вокруг - врачи, юристы, профсоюзные деятели, университетский профессор. Обнаженных, нас допросили, заанкетировали, дали номера, снова сняли отпечатки пальцев. Затем - помывка, антисептики. Потом - синие робы. Все - можно расходиться по камерам.

Камеры - пять на семь футов, две койки, нужник, раковина, столик.

Окон нет, стена, выходящая на улицу, - сплошная решетка, боковые - железо, передняя - стальная дверь, через которую пропущено электричество, и всякий раз, когда она со скрежетом открывается, я чувствую, как покидает меня воля к сопротивлению. К маленькой камере можно привыкнуть. Я привык. Она становится твоим домом; ты устраиваешься здесь, живешь или, по-тюремному говоря, мотаешь срок. Расписание такое: побудка в шесть, заправка коек, туалет. Открывается дверь в решетке, мы выходим на балкон, шагаем в его конец, спускаемся по лестнице, берем оловянные подносы с едой. После завтрака (десять минут в полном молчании) уборка камеры. Затем - свободное время, можно читать, если найдется что. Каждому полагается по одной книге в неделю, их привозят из тюремной библиотеки на тележке. Я выбрал самую толстую - оказалась "Сага о Форсайтах". Я проглотил ее за три дня, и поскольку писать о самой тюрьме не полагалось, первое мое письмо к Бетт превратилось в краткую рецензию на роман Голсуорси.

Далее - обед. Днем - полуторачасовая прогулка по верхнему ярусу. Наконец ужин и возращение в камеру. В половине десятого выключается свет. Вот и весь день, но даже и эта рутина нарушается всякими событиями, так что писателю есть чем "поживиться". Мне хорошо запомнилась так называемая банда Резиновых носов. Она состояла из пятерых налетчиков, специализировавшихся на банках. Они успели ограбить одиннадцать банков в разных концах страны, пока их, наконец, не

поймали. В качестве масок использовались резиновые носы, какие ребятишки натягивают на Хэллоуин. В тюрьме эта компания неустанно обдумывала следующий налет - когда и если удастся выйти. По тюремному телеграфу было передано, что в новой группе заключенных - профессора, и стоило мне появиться - а был я в очках, - как эти ребята окружили меня во время прогулки. Они показали мне схему запланированного ограбления и попросили высказать свое "компетентное" мнение. Их план был полным бредом, какой мог родиться лишь в помутненном сознании недоразвитого подростка, и я до сих пор не могу взять в толк, как им удалось обчистить 11 банков!

В течение девяти дней моим соседом по камере был парнишка, который и жить начать не успел, а душа его уже была надломлена. И еще до меня доносились голоса восьми узников из камеры смертников двумя этажами ниже. Неплохо бы послушать их тем, кто выступает за применение исключительной меры наказания. Трижды в день я садился за стол с грабителями и мошенниками, а во время прогулок прислушивался к их разговорам. Я вообще много слушал. Лежишь бессонной ночью в крохотной камере и слушаешь, как люди молятся: они не хотят умирать, они просят Бога дать им еще один шанс, исповедуются в отсутствие священника и рассказывают Богу о том, как ненавидели их другие, какие жестокие удары пришлось им испытать на своем веку, о том, что не успели они сделать в этой жизни и шага, как дорога уже вела их в ад. Да, в тюрьме столько узнаешь об уделе человеческом, сколько ни в каком другом месте.

Наутро девятого дня мне вернули одежду и велели идти на выход. Внизу поджидали Дик Бредли и Эд Барски. Нам вернули вещи, снова надели наручники и в сопровождении двух стражников запихнули в машину.

Удивительное чувство испытываешь, возвращаясь в мир после девяти дней заключения. Куда нас везут - неизвестно, но все равно само движение, само ощущение перемены бодрит необыкновенно. Зачем наручники? Мы вовсе не собирались бежать, да и как убежишь от таких громил? Мы - заключенные, и с этим фактом примирились. В окно машины бьет солнце, по улице идут люди, свободные люди, даже не подозревающие о своем счастье. Проехали мы миль триста, все глубже и глубже забираясь в дикие горы Западной Виргинии. Наконец остановились у ворот тюрьмы, где нам с Бредли предстояло досиживать срок. Она называлась Милл Пойнт. Тут мы попрощались с Эдом - его переводили в петербургскую тюрьму.

После кошмарной средневековой тесноты вашингтонской тюрьмы Милл Пойнт казался чистым избавлением, даже

благословением. Конечно, это тоже тюрьма, но тюрьма, позволяющая сохранить хоть крупицы человеческого достоинства. Стен здесь не было - разве что непроходимая стена леса вокруг, - не было и камер, решеток, карцеров, колючей проволоки, через которую пропущено электричество, двери не запирались, только на кухню. Я слышал, что Беннет, глава федеральной пенитенциарной службы, собрал психиатров и других специалистов, которые в результате продолжительного обсуждения пришли к выводу, что тюрьмы без стен и дверей - самые надежные тюрьмы, из них не бегут. Вот и в Милл Пойнт не было стен, только знаки, расставленные по десятиакровому периметру: "ЭТУ ЧЕРТУ НЕ ПЕРЕСТУПАТЬ!" Разумеется, так было не везде. В Милл Пойнт помещались заключенные, приговоренные не более чем к двум годам или досиживавшие здесь последние месяцы десяти- или пятнадцатилетнего срока. Белое большинство составляли самогонщики из Кентукки и Западной Виргинии, а черное - мелкие воришки и хулиганы. Поскольку за побег полагалось дополнительно пять лет, почти никто бежать и не пытался. Тюрьму построили в 1938 году, при Рузвельте, который необычайно увлекся идеей тюрем без стен. За двенадцать лет было предпринято лишь 8 попыток побега, и всех беглецов поймали.

То были другие времена: в тюрьмах никакого кокаина, так, травку покуривали, да и то немного. Никто не нарушал внутреннего распорядка - никому не хотелось терять двух дней в месяц, которые скащивали со срока за примерное поведение. В принципе таких людей, как Дик Бредли и я, должны были бы поместить в тюрьму Дэнберри, штат Коннектикут, где сидел, например, конгрессмен Парнелл Томас (один из тех, кто вменял нам в вину неуважение к Конгрессу). Засадил его туда Эдгар Гувер, которого Томас, явно не рассчитав своих сил, призвал к ответу за якобы гомосексуальные наклонности. Два года в тюрьме охладили его пыл. Но власти отдавали себе отчет в том, что, если засадить нас с Бредли в Дэнберри, начнутся бесконечные протесты и демонстрации перед стенами тюрьмы, а этого им совсем не хотелось. Ну а Милл Пойнт - место уединенное, туда протестующим не добраться.

Тюрьма располагалась в самой глубине громадного лесного массива, окруженного горами, - как бы на дне чаши. Мы жили в армейских казармах, по 88 человек в каждой. Две казармы для белых, две для черных. Места там чудесные, сама тюрьма содержалась в образцовом порядке, а ее начальник, Кеннет Тимен, был одним из самых достойных людей, каких мне доводилось встречать среди государственных служащих. Как уж

такой человек оказался на подобном месте - не знаю, но в любом случае нам сильно повезло. До Милл Пойнт, во время войны, Тимен был начальником тюрьмы Дэнберри, где тогда сидели несколько сот квакеров и других пацифистов. Его девятнадцатилетний сын погиб на фронте, и Тимен говорил мне, что тяжелей задачи ему в жизни не выпадало - сохранять чувство справедливости и не переходить границ дозволенного в обращении с сознательными противниками любого насилия.

Вот как складывался мой день: в семь подъем, умывание, бритье, завтрак. Потом - работа. Помещение уже убрано, койки заправлены. Бригада каменщиков, в которую меня определили, целиком состояла из черных. Со многими из них я подружился. Учил меня один старик, считавший сам процесс замешевания цемента делом мистическим. Возможно, он был прав. Затем обед и снова работа. В четыре работа заканчивалась, и до ужина наступало свободное время. А после - софтбол, письма, сигареты, безделье - словом, все что угодно. Я, например, занимался с неграмотными.

Занятия проходили в просторном, обычно пустующем помещении, где вдоль стен стояли складные стулья. Удивительно, но учениками моими оказались двадцать человек из Кентукки. В моем распоряжении имелись доска и мел. Раньше учительствовать мне не приходилось, и я выбрал самый простой путь: написал на доске крупными буквами алфавит. Прошло три урока, и мои ученики научились писать свое имя, некоторые самые простые слова. Почти все заучили алфавит.

Они отнюдь не были тупоумными, эти кентуккийцы, как принято считать, совсем наоборот, ребята способные. В общем, новым своим делом я увлекся необычайно, а временами так и вообще впадал в экстаз, знакомый, наверное, любому учителю.

Но как-то меня остановил Тимен.

- Фаст, боюсь с уроками придется покончить.

- Почему?

- Я получил указание из генеральной прокуратуры. Коммунистам запрещено заниматься преподаванием.

- О, Господи, неужели они думают, что я преподаю этим парням уроки революционной грамоты? Я всего лишь учу их читать и писать, и у них получается.

- Ничем не могу помочь, это приказ.

Так был положен конец моей преподавательской деятельности в тюрьме, и это оказалось самым, наверное, тяжелым ударом, который я испытал за эти три месяца.

Но они постепенно подошли к концу. Многие видели во мне мученика, во многих странах проходили митинги с призывами

освободить меня. Пабло Неруда, чудесный человек и великий поэт, посвятил мне стихотворение.

Там была такая строка: "... тьма, ночь, и кровь, и слезы". Сочиняя это стихотворение, Неруда не мог знать, что такое Милл Пойнт и кто такой Кеннет Тиман. Ему казалось, что я томлюсь в тюрьме, похожей на чилийский застенок. Конечно, обо мне он пишет слишком щедро, но надо вспомнить, какое это было время. Началась корейская война, в глазах многих - пролог Третьей мировой, начался крестовый поход против коммунистического Китая, пресса приняла в нем самое горячее участие. Мы не без оснований опасались, что нас вообще никогда не выпустят на волю. Я стал "мучеником" не потому, что искал мученической доли или жил жизнью мученика, но потому, что люди - не все, конечно, но миллионы - видели в нас мучеников Америки, представлявшей атомную угрозу жизни на земле. То ли непосредственно перед тюрьмой, то ли сразу после освобождения я обедал в Нью-Йорке с венгерским консулом, и он заметил: "Все мы, в Венгрии, в Советском Союзе, изо дня в день живем в страхе, что Америка в любой момент может забросать нас атомными бомбами, и тогда конец всему".

В 1950 году движение в защиту мира во главе с коммунистами - движение очень скромное в сравнении с мощной волной, положившей позднее конец войне во Вьетнаме, - постоянно обвиняли в том, что это инструмент политики Советского Союза. В каком-то смысле так оно и было. Но было это движение также и инструментом - если уж угодно употреблять это слово - всех людей доброй воли. В атомный век мир - единственная надежда человечества на спасение, а когда началась война в Корее, эта надежда пошатнулась. Власть, бросившая меня вместе с другими в тюрьму за политические убеждения, - это власть, лишенная здравого смысла. Ибо, оказавшись за решеткой, я без всяких усилий с моей стороны сделался знаменем борьбы за мир.

Не могу сказать, что в тюрьме я испытывал такие уж лишения. Если, конечно, не считать лишения свободы, права свободного человека передвигаться так и туда, как и куда ему вздумается. Мы остро критиковали Советский Союз за отказ выпускать своих граждан за границу, но ведь и в Америке в мои времена ни одному левому не выдавали паспорта. Мой отобрали немедленно по возвращении из Парижа и отказывали в получении на протяжении последующих десяти лет. Помню, в Канаде намечался большой концерт Поля Робсона. Граница открыта, паспорт не нужен, и все же Поля, применив какое-то древнее установление, в Канаду не пустили. Позиция Вашингтона

формулировалась так: если нас выпустить за границу, вокруг нас немедленно соберутся все антиамериканские силы. Но они и так ориентировались на нас.

На тюрьму я оглядываюсь, разумеется, без радости и без ощущения, что понес заслуженное наказание. Рассказать о ней пытался правду, отдав должное государственной пенитенциарной системе в ее отдельных положительных проявлениях. А вот власть, что бросила меня туда, я вспоминаю с отвращением и горечью. Сажать писателей за решетку - дело гнусное, это советская манера, пятнающая саму идею социализма. В Китае и до сих пор так заведено. Не говорю уж, естественно, о грязных диктаторских режимах, что распространились по "третьему миру", - многие из них, кстати, американские "клиенты".

Тем не менее, не окажись я в тюрьме - никогда бы мне не написать "Спартака". Над этой книгой я впервые стал задумываться в Милл Пойнт, где полнее и глубже, чем раньше, осознал всю трагедию существования обездоленных. Но на первых порах после освобождения я наслаждался обществом жены и детей в нашем небольшом доме на 94-й улице. На полу крохотной, в викторианском стиле, гостиной Бетт постелила темный ковер с вытканными на нем алыми розами, тут же стояла древняя, еще времен моего детства мебель - набитая конским волосом кушетка, стулья с изогнутыми спинками по моде 30-х, когда ничто не стоило больше 25 центов; уют, все к месту. Я расхаживал по дому с каким-то обновленным чувством, уговаривая себя, что всегда только этого и хотел - хорошо писать и воспитывать детей - словом, вести жизнь нормального человека.

Однако же существовала еще в моей жизни и коммунистическая партия США, и события, случившиеся сразу по моем освобождении из тюрьмы, должны были бы открыть ей глаза на собственную глупость и паранойю.

Я смолоду любил театр, и вышло так, что жизнь у меня раскололась надвое: как романист я добился и кое-какой известности, и кое-какого благополучия; как драматург - витал в облаках и получал за свои пьесы копейки, за исключением, правда, "Гражданина Тома Пейна", который в течение семи недель с успехом шел в Центре Кеннеди много лет спустя после того, как я вышел из компартии.

Незадолго до тюрьмы я написал пьесу под названием "Молот". В ней на фоне войны разворачивается драма еврейской семьи - отца, который непосильным трудом едва зарабатывает на пропитание, и трех его сыновей. Один возвращается с фронта с тяжелым ранением. Другой наживается на войне. Третий,

младший, стремится попасть в действующую армию. Пьеса слабоватая, слишком уж в ней выпирают тенденция и мораль. Дело, однако же, в том, что примерно за год до ее написания мы с Хербом Тэнком, некогда моряком торгового флота, а ныне писателем, Барни Рубином, ветераном испанской и Второй мировой войн, самым, наверное, известным комментатором "Старз энд Страйпс", актером Фрэнком Сильверой и драматургами Арнольдом Мэнофом и Элис Чилдрес основали студию "Новая драматургия". Туда я и передал свою пьесу.

Барни и Херб задумали сыграть премьеру в день моего освобождения. Но поскольку срок мне за примерное поведение немного скостили, вышел я раньше, чем предполагалось, и поспел на прогон. "Новая драматургия" - внебродвейский театр левой ориентации, финансово его в меру своих скудных возможностей поддерживала культурная секция компартии, так что Комитет по антиамериканской деятельности рассматривал его как часть общего коммунстического фронта. Помещался театр в здании чехословацкого культурного центра на 72-й улице.

В день моего возвращения позвонил Барни, радостно поздравил с освобождением и сказал, что сегодняшний прогон посвящается нам с Бетт. Начинаем в половине девятого, добавил он. Пока не сыграют премьеру, автор никогда не знает, насколько дурна его пьеса, а тогда у меня был дополнительный повод для волнения: репетировали в мое отсутствие. Впрочем, что сделано, то сделано: глупо размахивать топором, когда у ног уже лежат чурбаки. Между собой мы с Бетт решили, что даже если что-то не понравится, молчать: ведь люди хотели как лучше.

На прогон пришли человек 10 - 12 из культурной секции. Представление началось. На сцене появился отец, Майкл Левин, невысокий мужчина с бледным изможденным лицом и рыжими волосами. Затем его жена - тоже маленькая, измученная женщина с прозрачной кожей. И наконец, старший сын, его играл... Джеймс Эрл Джонс - верзила-негр ростом в 6 футов 2 дюйма, весом 200 фунтов и басовитым голосом, от которого сотрясались стены театрика.

- О Господи, - простонал я.

- Спокойно, наверняка это просто замена, - прошептала Бетт.

- Да какая там замена! Боги за что-то явно прогневались на меня. И музы тоже. Мне конец.

Время тянулось мучительно медленно. Прошу понять меня правильно: Джимми Джонс, как все мы его называли, очень славный, скромный и глубоко преданный театру человек. Но ведь он же черный, и он вдвое длиннее всех остальных участников спектакля.

Наконец, первый акт кончился, занавес пополз вниз, и я повернулся к Барни:

- Я так понимаю, что Джимми вышел на замену?

Барни покачал головой и кивнул в сторону секретаря культурной секции Лайонеля Бермана, стоявшего рядом.

- Как это понять - "на замену"? - осведомился наш главный идеолог.

- Ну, скажем, основной исполнитель заболел или еще что случилось - и кто-то на текущем представлении его заменяет.

- Нет. Джимми репертировал эту роль с самого начала. А твое замечание имеет явно шовинистический оттенок.

Начинается, подумал я, всячески стараясь сдержаться и напоминая себе, что этот коротышка-комиссар говорит от имени партии, объединяющей самых близких моих друзей.

- Никакой я не шовинист, Лайонел. Просто по пьесе в Майке веса не больше ста десяти фунтов, он белый, он еврей, и объясни мне, ради бога, каким таким генетическим чудом он мог произвести на свет Джимми Джонса.

- Ты упускаешь главное, - заявил Берман.

- Допустим. И в чем же состоит это главное?

- Главное состоит в том, что театр - это тебе не фотография. Театр держится иллюзией, и если актер талантлив, то умение поддержать иллюзию позволит ему сыграть роль и добиться доверия аудитории. Вспомни о Канаде Ли.

Черный актер Канада Ли произвел в свое время небольшой фурор ролью, сыгранной им в "Графине Мальфи", там он играл белого, но его просто загримировали. Я терпеливо объяснил Берману разницу и добавил:

- Слушай, я ничего не имею против Джимми, но в этой роли он и себя выставит дураком, и пьесу погубит.

- Партия с тобой не согласна, - заявил Берман.

С ним-то еще, положим, можно было поспорить. Но как поспоришь с партией? Он поставил меня в известность, что ситуация стала предметом серьезного обсуждения с В. Дж. Джеромом, совершенным тупицей, который, однако же, возглавлял отделение культурной секции в районах к востоку от Миссисипи.

- Это моя пьеса, - сказал я, - и я против.

Барни и Херб молча слушали нашу перепалку. Подобно мне, им не хотелось рвать с партией. Они отдали ей молодость, были с ней в годы войны и мира. Подобно мне, им приходилось встречаться с людьми, против которых партия выдвигала обвинения, исключала из своих рядов, и они оказывались в изоляции - ползти на коленях к тем, кто ненавидит партию, они

не могли, а друзья от них отвернулись. Нет, просто так из партии не выйдешь.

- Такова, выходит, твоя позиция? - сказал Берман. - В таком случае против тебя будут выдвинуты...

Я повернулся к Барни.

- А ты как считаешь? Согласен с ним?

- Пришлось согласиться, - ответил Барни.

- Слушай, давай все же попробуем, - вступил Херб. - Как знать? Ведь Лайонел прав: театр это - иллюзия. К тому же теперь уже ничего не изменишь.

- А иначе меня обвинят в шовинизме?

Барни кивнул. Я оказался на краю обрыва, и это будет постоянно повторяться в ближайшие годы. Дело не только в том, что исключение грозит лично мне, я настолько разозлился, что готов был все послать к черту, пусть исключают. Но если забрать пьесу, ко дну пойдет весь театр. А ведь Барни и Херб работали как звери. Помимо того, есть еще семь участников спектакля, и они тоже трудились и тоже надеются на успех, а еще дублеры, режиссер, словом - люди.

- Ладно, попробуем, - безнадежно вымолвил я.

На премьерный спектакль зал был закуплен Союзом еврейских рабочих, точнее - Союзом портных. В те годы до восьмидесяти процентов портных в Нью-Йорке составляли евреи, это были люди за пятьдесят и шестьдесят, и относились они ко мне, как и их жены, с явной симпатией. Простые трудяги, они любили театр и смолоду беззаветно поддерживали еврейские труппы. Теперь им не терпелось посмотреть, что же там нового написал Говард Фаст, только что вышедший из тюрьмы. Заранее настроенные благожелательно, они остро переживали происходящее на сцене: где надо - плакали, где надо - смеялись. И так шло до тех пор, пока на сцене всей своей громадой не вырос Джеймс Эрл Джонс. Остро, как и большинство черных исполнителей, ощущая настроение публики, он безуспешно пытался смягчить свой густой бас.

Бетт и я съежились в креслах, слыша, как по залу пополз шепоток: "Кто это? Откуда он здесь взялся?" Если бы эти несчастные комиссары от культуры дали себе труд как следует все обдумать, они сообразили бы, что, ставя Джеймса Джонса в такое ужасное положение, именно они-то и выглядят шовинистами. Как под микроскопом, этот эпизод выявил всю суть коммунистического руководства - и в Америке, и, как я полагаю, повсюду. Прежде всего, это люди, оторванные от рядовых членов партии, а главное, фатально не способные примирить теорию с практикой. Они упорно не хотят считаться с действительностью,

и если в театре это еще куда ни шло, то на большой - политической - сцене такая позиция чревата трагедией. Вот и теперь они просто решили, что черный актер способен убедить публику в том, что он белый; и решение это мгновенно обрело плоть, ибо не противоречило тому, что они считали "марксистским мышлением". Сталин решил, что немецкие солдаты не будут стрелять в советских рабочих, потому что и те и другие принадлежат к трудовому сословию, - это стоило жизни многим миллионам. В 1948 году руководство компартии США решило, что теоретически настало время "третьей партии". Оно убедило Генри Уоллеса выставить свою кандидатуру - и выборы обернулись катастрофой, выявив не силу, но слабость американских либералов. То же самое - с отказом от забастовок во время войны. Да и воообще примеры, когда компартия принимала те или иные решения, совершенно не считаясь с действительным положением вещей, можно привести во множестве. Такая политика ничуть не делала коммунизм опаснее для правящих кругов; напротив, она подрывала его силы изнутри. Неумное, слабое руководство превращало его чуть ли не в противоположность тому, к чему стремилось.

Впрочем, это особый разговор, а я возвращаюсь к премьере "Молота". Спектакль закончился, и в зале раздались жидкие аплодисменты. В антрактах аудитория сократилась примерно на треть. Мы с Бетт забились на галерку в надежде, что нас никто не заметит. Мне вообще вдруг захотелось вернуться в Милл Пойнт. На выходе мы столкнулись с театральным обозревателем "Нью-Йорк геральд трибюн".

- Знаете что, Фаст, - сказал он, остановив меня, - мне нравится, как вы до конца отбивались от этих ублюдков, и я хочу оказать вам услугу: я не буду рецензировать этот спектакль.

Да благословит его господь.

Возвращение в дотюремную жизнь оказалось труднее, чем я ожидал. Что-то во мне за эти месяцы сломалось, я теперь иначе смотрел на мир. Я изменился. Никогда уже не испытать мне того ликующего, победного чувства, которое не оставляло меня десять лет назад, и писать, как прежде, я тоже не смогу. Но, может быть, у меня будет выходить немного получше, потому что я знаю теперь немного больше, чем раньше? Все мне теперь казалось бесценным - дети, которых мы с Бетт привели в этот мир, дом, воздух, которым мы дышим, сама возможность быть вместе. Мой прежний, черно-белый мир пошатнулся, я не мог видеть врага в Кеннете Тимене. Не где-нибудь, а именно в тюремной библиотеке я отыскал книгу о Германии после Первой мировой войны, из

которой узнал много нового о Розе Люксембург. Это она дала имя организации немецких социалистов - "Спартак"; это она одновременно с ужасом и надеждой взирала на то, что происходит в России; и это она, незадолго до гибели, писала: "Свобода только для тех, кто поддерживает власть, как и свобода для одной только партии - неважно, насколько она велика, - никакая не свобода. Свобода - это свобода думать отлично от других. Говорю это не из фанатичной преданности идее абстрактной справедливости, но, опираясь на тот бесспорный факт, что все, что есть в политической свободе здорового, чистого, вдохновляющего и поучительного, идет от ее независимого характера. А еще один факт состоит в том, что, превращаясь в привилегию, свобода разом утрачивает все свое достоинство.

Тюрьма учит. Сидишь с сигаретой на деревянном крыльце казармы, глядишь на закат и говоришь, говоришь... Мне хотелось написать о неудавшейся революции в Германии, но воспоминания о Холокосте были еще слишком свежи, да и в Германию я не собирался, так что задумался я о рабе Спартаке и о том, почему Роза выбрала его имя для организации немецких социалистов. В скудной тюремной библиотеке я перечитал о нем все, что нашлось. И, естественно, то немногое, что нашлось о Риме. Вообще-то в древней истории я был более или менее начитан, основа имелась, но лишь оказавшись на воле, я принялся за дело основательно, в частности перечитал, на сей раз от корки до корки, замечательный двухтомник под названием "Чернь в древние времена". Там есть и история Спартака. Она-то и подсказала мне более или менее надежную линию повествования. Правда истории непостижима, лучшее, что может сделать исторический романист, - передать ощущение времени, о котором пишет.

Целыми сутками я "пребывал" в древнем Риме, писал, вычеркивал, переписывал. Но спокойной жизнью ученого и сочинителя жить не удавалось. Малый террор продолжался, и закрывать на это глаза было невозможно. То и дело устраивались пикеты и демонстрации. Милтон Вулф, ветеран испанской и многократно награжденный герой Второй мировой войны, считал борьбу с Франко делом своей жизни. Месяца не проходило без демонстрации протеста под его водительством.

Сидишь над рукописью. Телефонный звонок.

- Это Милт. Мы пикетируем.

Что пикетируем? Допустим, испанское консульство. Или отель, где остановился кто-нибудь из представителей Франко.

Одновременно продолжалось дело Розенбергов. Удивительно,

сколько на эту тему написано, но никто не задался вопросом, почему в качестве свидетелей в суд не были приглашены ведущие физики-ядерщики. Те, например, с кем я имел на эту тему доверительные разговоры, повторяли в одни голос, что весь процесс - это жалкий фарс, нельзя даже и помыслить, чтобы чертеж Дэвида Грингласа - а это была единственная улика, представленная обвинением, - мог хоть в какой-то мере открывать секрет атомной бомбы. Компартии не хотелось ввязываться в это дело, но мы с Жюлем Трупаном настаивали. Я написал в Париж Жувенелю, он поставил вопрос перед руководством Французской компартии, и оно дало согласие возглавить всемирное движение в защиту Розенбергов. В Америке за дело взялись мы с Жюлем, и движение охватило все, что осталось - а осталось немного - от наших либералов. Террор не утихал - дело Розенбергов только подогрело антикоммунистическую истерию. Комитет по антиамериканской деятельности трудился не покладая рук. Дэшиэл Хэммет отказался стать информатором и на полгода попал в тюрьму.

Эмануэля Блоха, адвоката защиты, я знал довольно давно; еще пять лет назад, когда процесс только начинался, пригласил его пообедать. Позиция у него была простая и безрадостная: никакие свидетельства и никакое юридическое мастерство не помогут, приговор уже предрешен. Он давно уже подчеркивал то обстоятельство, что в городе с самым большим в мире компактным проживанием евреев ни одного из них нет в жюри присяжных. А в судейском кресле сидит трусливый еврей, марионетка в руках Гарри Трумэна.

Тем не менее переговорить с ним я счел небесполезным, ибо хотел рассказать Манни о своей встрече с Жолио-Кюри. Тогда и он, и Ирэн в один голос утверждали, что, коль скоро речь идет об атомном оружии, ничего нельзя удержать в секрете, а уж они-то в этом деле авторитеты. Жолио-Кюри возглавлял французский атомный проект и консультировал русских. Манни высказался в том роде, что Жолио-Кюри ни за что не дадут американской визы, но если даже он каким-то чудом окажется на свидетельском месте, показания его все равно пойдут в мусорную корзину. За неделю до того у меня в гостях был один профессор Корнеллского университета, тесно связанный с Манхэттенским проектом. Речь зашла о Розенбергах, и он сказал, что обвинение настолько шито белыми нитками, что ни один хоть сколько-нибудь знающий человек в него ни за что не поверит. Но когда я спросил, готов ли он выступить свидетелем в суде, профессор замотал головой и сказал, что ему вовсе не хочется ближайшие пять лет провести на тюремных нарах. Ключевой фигурой властей на процессе должен

был стать Роберт Оппенгеймер, но среди свидетелей его так и не оказалось - он, по собственным словам (как передал их мне мой друг - корнеллский профессор), и без того достаточно запятнал себя, уступая угрозам правительства, но все-таки не настолько, чтобы ретранслировать его выдумки. Не появился на свидетельской трибуне, хотя и был объявлен, и доктор Гаролд Юри. Даже генерала Лесли Гровза - и того не было.

Дело Розенбергов поглотило меня целиком. На моих глазах мир погружался в пучину безумия. В Корее шла война, которая грозила перерасти в войну с Китаем, и в центре всего неожиданно оказались именно Розенберги. Ничего мне так не хотелось, как спасти их, и Манни Блоху тоже. Он умер от инфаркта прямо во время судебного заседания.

Розенберги сделались символом. Если можно сфабриковать обвинение и послать на смерть двух американцев, стало быть, закон в этой стране больше не действует. Жюль говорил так: "Они не должны умереть. Мы оба это понимаем. Это еще хуже, чем дело Сакко и Ванцетти, нельзя, чтобы люди с этим смирились. Надо что-то делать".

А что?

Мы оба прекрасно знали, насколько коррумпирована власть. В Нью-Йорке существовали определенные расценки, ни для кого это не было секретом, и все с этим мирились. В Вашингтоне ставки, наверное, были еще выше. Жюль был знаком с адвокатом, работавшим в конторе, среди клиентов которой числились самые видные лоббисты столицы. Будучи уверены (лишь отчасти параноидально), что ФБР прослушивает разговоры каждого радикала, по телефону мы практически ни о чем не говорили и просто отправились утренним поездом в Вашингтон, где и пригласили этого адвоката на обед. Состоялся весьма поучительный разговор (имени Розенбергов мы до времени не называли). Самые твердые и самые низкие

ставки - в Белом Доме, при этом адвокат с явным оттенком уважения добавил, что, например, Гарри Трумэн - человек очень надежный и честный, - будучи сенатором, он брал 3000 долларов, столько же - когда стал вице-президентом, и столько же, сделавшись президентом. И никогда не подводил. Сейчас еще живо много людей, которые знают, что все это правда. Я не пытаюсь очернить память Гарри Трумэна. Просто пишу то, что мне известно, и опираюсь на то, что слышал и во что верю.

Стоило прозвучать имени Розенбергов, как приятель Жюля чрезвычайно разволновался и поспешил закончить трапезу. Мысль о визите к Трумэну была, конечно, смехотворной, однако, уходя, адвокат назвал имя одного сенатора, которому хватало

мужества выступать против теневого диктатора страны - Эдгара Гувера. Сенатор доступен. С ним можно разговаривать, но, по словам адвоката, расценки колеблются. Мы отправились в канцелярию сенатора, где нас встретил его помощник. Он заявил, что встречи с сенатором не будет, его имя в связи с этим делом вообще не должно фигурировать, а если речь идет о деньгах, то заплатить надо ему, помощнику, о деталях можно договориться позднее. Пока суд да дело, до нас дошло, что Трумэн со страшной силой давит на судью Кауфмана, требуя смертного приговора. В Вашингтоне говорили, что он загнал его в угол, сопротивляться нет никакой возможности, и даже когда Кауфман обратился к Трумэну с просьбой, чтобы приговор огласил кто-нибудь другой, ибо в противном случае он сделается изгоем в глазах людей своей веры, президент остался непоколебим. Неделю спустя я оказался в приемной своего дантиста Ирвинга Найдорфа, когда из его кабинета, вытирая слезы, вышел судья Кауфман. Найдорф, человек отнюдь не либеральных воззрений, рассказал мне, что Кауфман спрашивал, как ему быть перед лицом трумэновских угроз. Пораженный собеседник напомнил тому, что он всего лишь зубной врач и с таким вопросом лучше обратиться к рабби. Кауфман сказал, что уже обращался, но рабби ответил, что выбор должен сделать он сам. В многочисленных публикациях, посвященных процессу над Розенбергами, нет и намека на переживания судьи Кауфмана. Впрочем, и я ничуть не намерен оправдывать вынесенный им приговор, он справедливо считается и жестоким, и трусливым.

Возвращаюсь к нашему визиту в сенаторскую канцелярию. Я должен был вернуться в Нью-Йорк в тот же день, Жюль появился на следующий и сказал, что получил такие указания: апелляция и деньги, 5000 долларов, должны исходить от адвокатов Розенбергов в форме оплаты консультационных услуг. Гарантий никаких нет, но сенатор полагает, что ему удастся смягчить позицию Трумэна.

К тому времени Манни Блоха уже не было в живых, защиту осуществляли другие. Французский комитет в защиту Розенбергов прислал своего представителя, это была видная, на редкость красивая и умная женщина, но в американском законодательстве она разбиралась слабо. Между тем именно ей, в числе других, Жюль передал предложение сенатора, добавив, что деньги найти можно. Но наша помощь была с возмущением отвергнута, а услышав, что смертный приговор предрешен, собеседники заявили, что за ними стоят массы людей и Розенбергов они спасут без всякой помощи со стороны "какого-то ублюдка" из Вашингтона.

Еще один пример того, насколько плохо левые понимали реальное положение вещей.

Два года спустя Билл Паттерсон, активист движения за гражданские права, и я возглавили шествие к воротам тюрьмы Синг-Синг в день казни Розенбергов.

Работа над "Спартаком" и так-то шла туго, а тут еще паспорт для поездки в Италию не дали, при том, что многое надо было посмотреть на месте. Лишь годы спустя исходил я вдоль и поперек развалины Помпеи, где происходит действие "Спартака". В выдаче паспортов отказывали тысячам левых - к вопросу о Советском Союзе, где действовали сходные правила. Я прилежно занимался латынью. Часами листал классические энциклопедии. Жадно расспрашивал друзей из числа знатоков той эпохи. Скажем, мне понадобилось написать колыбельную для жены Спартака Варинии, и я попросил Луиса Антермайера подсказать мне правильный размер. Он посоветовал шестистопник. Этим же размером написана "Эванджелина" Лонгфелло, и некий рецензент раздраженно выругал меня за невежество, хотя невеждой в данном случае оказался он сам. В конце концов все страдания остались позади, была поставлена последняя точка. Во второй раз в жизни я написал книгу о рабе, и, странное дело, обе они - и "Дорога свободы", и "Спартак" - разошлись в "третьем мире" миллионами экземпляров.

Рукопись я отправил в бостонское издательство "Литтл, Браун", которое раньше выпустило два моих романа и сборник новелл. Это было в начале июня 1951 года, и уже несколько недель спустя главный редактор издательства и мой старый друг Энгус Камерон прислал мне копию написанного им редакционного заключения. Выдержано оно было в самых восторженных тонах ("для нас будет большой честью опубликовать этот роман..." и т.д.). Любой автор и в любой ситуации был бы счастлив получить такой отзыв, но когда живешь в атмосфере преследований и страха, это вообще смахивает на чудо. Бетт и я подобающим образом отметили это событие, не забыв, естественно, выпить за Энгуса. Он не был коммунистом, но амеркиканские ценности ему были дороги, происходяшее в стране вызывало у него возмущение и решимость противостоять безумию. Нам казалось, что начинаются новые времена и пример Энгуса Камерона окажется вдохновляющим для всего издательского мира.

К сожалению, мы ошиблись. Примерно неделю мы с Бетт пребывали в эйфории, а потом позвонил Энгус и сказал, что едет в Нью-Йорк, надо встретиться. Действительно, он появился на следующий же день и поведал совершенно неправдоподобную

историю. Эдгар Гувер отправил к президенту "Литтл, Браун" специального эмиссара, который от его имени потребовал воздержаться от публикации романа Говарда Фаста. В противном случае к издательскому дому будут применены санкции, хотя какие именно, осталось загадкой.

Состоялось редакционное совещание, в ходе которого Энгус заявил, что подобное требование есть удар по фундаментальным конституционным свободам, оно нарушает Первую поправку, это позор, беспрецедентный случай в американской истории - высокопоставленный государственный служащий запрещает издателю публиковать книгу, угрожая при этом последствиями. Подробности развернувшейся дикуссии мне неизвестны, знаю только со слов Энгуса, что была она горячей и продолжительной и большинство членов правления стало на сторону президента издательского дома, готового уступить нажиму. В конце концов Энгус заявил, что чувство собственного достоинства заставляет его поставить вопрос таким образом: либо издательство публикует "Спартака", либо он подает в отставку с постов вице-президента и главного редактора. Роман был отклонен, Энгус ушел в отставку. Он остался без работы, я - без издателя, который, несмотря на свою высочайшую квалификацию, опыт и уважение всего издательского сообщества, в течение многих лет не мог найти работу по специальности.

В обычных обстоятельствах эта история стала бы сенсацией национального масштаба, но в июле 1951 года случившееся отметили только "Дейли уоркер" да еще два-три издания. Печально, конечно, потерять такого человека, как Энгус, я всегда высоко ценил его суждения и советы как редактора, но в конце концов издателей много, кто-нибудь наверняка будет рад напечатать мой роман. Так мне казалось. Для начала я выбрал "Вайкинг пресс". Через неделю рукопись вернулась с вежливым сопроводительным письмом, где говорилось, что редакционный портфель на этот год забит. Что ж, вполне вероятно. Я обратился в "Скрибнерз". Там, как следовало из письма, рады были ознакомиться с рукописью, но она им не подходит. Далее - "Харперс". Оттуда ответили, что рассматривают рукописи, только если они представлены литагентом. А ведь это самое издательство 20 лет назад, когда я никому не был известен, выпустило мой первый роман. Теперь мои книги были переведены на 82 языка, но "Харперс"... имеет дело только с литагентами.

В ту пору веерный принцип был еще не в ходу. Рукопись представлялась последовательно одному издателю за другим. Лето подходило к концу, а прогресса никакого не наблюдалось.

Следующим в моем списке значился "Альфред Кнопф", издательский дом, к которому я всегда относился с большим почтением. И вот отважный мистер Кнопф пишет, что не желает марать руки о страницы, написанные таким типом, как Говард Фаст. Не знаю, может, копию этого письма он отправил Эдгару Гуверу? Далее - "Саймон энд Шустер". Когда-то это издательство выпустило раннюю мою книгу "Рожденные свободными". Потом дало мне аванс в 1200 долларов под "Последнюю границу". Теперь же рукопись вернулась даже без сопроводительного письма. Люди там явно ценили свое время.

Вся эта история многому меня научила. Отныне я никогда не буду осуждать немцев за то, что они не выступили против Гитлера. В конце концов, у него были расстрельные команды и концлагеря. А здесь - всего лишь угрозы Эдгара Гувера. И, как видим, испугались все, ни единый "храбрый" издатель не пожелал стать Горацием.

Я решил пройти путь до конца. Мне хотелось убедиться в том, что страх действительно парализовал весь издательский мир. Я предпринял шестую попытку - рукопись ушла в "Даблдей". И вот тут все обернулось по-другому. Примерно через неделю мне позвонил Джордж Хехт, руководитель книготорговой сети издательства, и сказал буквально следующее (я тут же записал наш разговор): "Мистер Фаст, я только что убил два часа на беседу с этими болванами из правления "Даблдей", которые в штаны наложили. На протяжении первого часа они толковали, какую замечательную книгу вы написали, а второй посвятили выяснению причин, по которым ее никак нельзя печатать. Знаете что, давайте пошлем подальше этих трусов. Я книгу прочитал и имею предложить следующее. Публикуйте ее сами, и можете считать, что получили от меня заказ на 600 экземпляров. Не верите - спросите, всякий скажет, чего стоит мое слово. Короче, действуйте - и да благословит вас Бог". Я и поныне не видел в лицо Джорджа Хехта. Не знаю даже, жив ли он. Несколько раз мы условливались о встрече, но все время что-то мешало. Однако слово свое он сдержал, и я отдаю ему должное. Этот человек проявил достоинство и мужество в те времена, когда эти качества были в большом дефиците.

Легко, однако, сказать - печатайте сами. Обогните вплавь остров Манхэттен. Вообще-то кое-кому удавалось, но я явно не из этой компании. Точно так же, при всем своем писательском опыте, я никогда не вникал в процесс книгопечатания. Я писал - издатель издавал. Тем не менее, сейчас у меня был заказ на 600 экземпляров, и надо было приступать к его исполнению. Я арендовал почтовый ящик 171 на Планетариум-стейшн и таким

образом обзавелся юридическим адресом. Беда, однако, заключалась в том, что у меня практически не было свободных денег. Надо было платить за дом, надо было каждый день есть, на издательский бизнес не оставалось ни гроша. Друзья напоминали мне о печальной судьбе Марка Твена - издателя, но у меня не было выхода. Продолжать попытки пристроить книгу явно не было смысла - запуганы все. Правда, свои услуги предлагали два английских издателя, но я считал, что пойти на первопубликацию в Англии означало бы выбросить белый флаг. Бетт была со мною согласна. Книга должна выйти здесь, в Соединенных Штатах. А что если разослать письма, объяснив адресатам ситуацию и попросив подписаться на будущее издание? Обычно цена на книгу такого объема колебалась в то время между 3 и 6 долларами. Последний мой перед "Спартаком" роман "Гордые и свободные" продавался за три. Мы решили оценить экземпляр "Спартака" в ту же сумму (хоть и был он на добрую треть длиннее), то есть три доллара за стандартное издание, и пять - за особое, в переплете с золотым тиснением и автографом - в надежде, что оно привлечет моих преданных читателей.

Бетт, я и секретарша работали, не покладая рук, и в конце концов дело пошло. Книга была напечатана, переплетена, и в одно прекрасное утро к нам в дом начали поступать пачки с экземплярами. Шестьсот я попросил отправить непосредственно из типографии на склад "Даблдей". Так и было сделано, деньги поступили мгновенно, ни один экземпляр не вернулся. Это меня чрезвычайно вдохновило. Я нанял помещение и перебросил туда остаток тиража. Бетт подготовила рекламу для "Нью-Йорк таймс бук ревью" на целую полосу. Этим пришлось тоже заниматься самодеятельно, ибо обращения в рекламные агенства успеха не имели - со мной никто не хотел иметь дела. В "Таймс" меня направили к цензору, что было неожиданностью, - я и не знал, что есть такая должность: цензор по рекламе. Тем не менее я оказался в кабинете пожилого господина, который внимательно разглядывал сделанный Бетт рисунок и текст к нему.

- Вроде, ничего страшного нет, - заметил он. - А о чем книга? Что-нибудь вроде переворота, насильственного свержения правительства?

- Да, но не нашего, другого. Того, что в Древнем Риме было.

- Ладно, рискнем.

Полосная реклама стоила 5000 долларов. Она практически опустошила мой банковский счет. В целом пресса его игнорировала, но кое-где рецензии появлялись, главным образом в малотиражных изданиях левого толка, где роман превозносили до небес. Для крупных же газет я превратился в козла отпущения,

представляющего всю компартию. Киношники к тому времени уже попали в черный список. Работу потеряли Альберт Мальц, Далтон Трамбо, Ринг Ларднер и многие другие талантливые сценаристы; их фильмы изъяли из проката - кроме тех, где в титрах значились псевдонимы и, следовательно, подкопаться было трудно. Зато книжные рецензенты резвились вовсю, соревнуясь в ненависти к коммунизму, а уж по этой части такой красный, как Говард Фаст, в качестве мишени не уступит никому.

Тем не менее на продажи жаловаться не приходилось. Первый тираж (5000 экзмпляров) разошелся. Я заказал второй, потом третий, четвертый. Прессу этот успех явно раздражал. В "Нью-Йорк таймс" от 3 февраля 1952 года некий Мелвилл Хит писал: "Сегодня каждый школьник знает, что римская цивилизация начала клониться к упадку задолго до прихода цезарей. И тот же самый школьник без труда объяснит, каким образом рабство, цементировавшее могучую некогда империю, способствовало ее же гибели".

Полагаю, можно уверенно держать пари, что до появления моего романа и фильма, который через десять лет снял по нему Кубрик, из 10 тысяч американских школьников, кто такой Спартак, знал в лучшем случае один. Так что не знаю уж, где мистер Хит нашел таких грамотеев.

В общей сложности было отпечатано 50000 экземпляров романа, и 48000 из них разошлись за три месяца - через книготорговую сеть "Цитадель" и по подписке. Как-то я попытался подсчитать, а сколько же всего было изданий "Спартака" по всему миру - получилось что-то порядка сотни. О пиратских изданиях в странах "третьего мира" не говорю - тут остается только гадать. Когда черные списки исчезли, издательство "Краун" выпустило роман в переплете, потом - сотнями тысяч экземпляров - в обложке. Надо признать, что право на публикацию книг в Америке отнять так и не удалось, даже Эдгар Гувер со своими боевиками не смог отменить Первой поправки к Конституции США. Хотя и пытался.

Небольшое послесловие к истории со "Спартаком". Через несколько недель после публикации на него яростно набросился Джон Говард Лоусон, возглавлявший культурную секцию партии на западном побережье. Локальная война между Лоусоном и Фастом началась уже давно, когда "Дейли уоркер" предложила мне вести постоянную рубрику. Я согласился, но с одним условием: рубрика должна выходить под шапкой: "Пишу, как считаю нужным". Сначала это условие было категорически отвергнуто, но, видимо, уж больно газете хотелось меня заполучить, так что в конце концов согласились. Но Лоусон,

стоило ему получить номер газеты с самой первой колонкой, взревел, как бык при виде красной тряпки. Он усмотрел тут нарушение партийной дисциплины и отстаивал свою позицию отчаянно: член партии не имеет права "писать, как считает нужным". А что, если он выступит против самой партии? "Дейли уоркер", газета коммунистов, напечатает и это? Да есть ли вообще в Соединенных Штатах издание, где люди, которым оно платит, говорят, что им вздумается? Ну, а я стоял на своем: да, никакая другая газета меня печатать не будет, но если "Дейли уоркер" и впрямь готова отстаивать свои коммунистические позиции, то заключаться они должны в том, что автору предоставляются те возможности, в которых ему другие отказывают.

Конечно, в этом была своя крайность. Из недели в неделю, из месяца в месяц я изо всех сил пытался в собственных глазах оправдать членство в партии. Жизнь нельзя отделять от работы; я писатель; чем бы я ни занимался, в первую очередь я писатель, я думаю, чувствую, вижу как писатель. Меня всегда возмущало бездумное, негибкое руководство компартии. Бетти Ганнет, настоящий цепной пес и проводник партийной линии, как она ее понимала, хотела выбросить меня из партии за то, что в романе "Гордые и свободные" я употребил слово, бывшее в ходу в колониальные времена, - "нигра". А сколько еще было таких попыток! Думаю, всякий раз меня спасала репутация известного писателя. Если исключить меня, может подняться скандал. Но что же меня-то самого удерживало в партии? Один красный со стажем заметил как-то: "Я знаю, почему я вступил в партию, и знаю, почему вышел из нее, но почему 20 лет оставался членом партии, сказать не могу". Настанет день, и мне придется уйти. Но тогда он еще не настал.

И самое последнее, связанное со "Спартаком". В левой печати, в том числе и непартийной, как я уже сказал, его хвалили; доброжелательной рецензией откликнулась и "Дейли уоркер", но автору рецензии решительно не понравилась концовка романа, в которой один римский деятель выступает за освбождение жены погибшего Спартака. "Что автор хочет сказать? Что это за идеалистическое, в духе Гёте, представление о Вечной Женственности, упраздняющее различие между угнетателем и жертвой. Можно ли представить себе нациста, объясняющегося в любви к русской?.. Нам предлагается нечто близкое к примирению полов в классовом обществе... Чувствуется разрушительное воздействие фрейдистской мистики, подставляющей на место социальных критериев эротические комплексы". И дальше в том же до тошноты идиотическом духе. Старая история - неумение или нежелание прочитать роман как

роман, признать право писателя видеть жизнь такой, какова она есть или представляется ему - ему, а не партийному культуртрегеру. Джон Говард Лоусон выразил согласие с двусмысленной рецензией в "Дейли уоркер", добавив, что в сценах боев гладиторов, да и не только, ощущается смакование брутальности, и на этом основании должен быть поставлен вопрос об исключении автора из партии. До этого, положим, дело не дошло, но пуританский идиотизм заставил некоторых вывесить на окнах своих домов объявление: "О СПАРТАКЕ ЗДЕСЬ НЕ ГОВОРЯТ".

... Президентом стал Дуайт Эйзенхауэр, но ничего в стране не изменилось, более того, истерия поднялась еще на несколько градусов. Голливуд штамповал антикоммунистическую кинопродукцию. Телевидение тоже только тем и жило. Элджера Хиса, имени которого я не слышал до начала процесса над ним и который был таким же коммунистом, как президент США, отправили в тюрьму по обвинению настолько нелепому, что, кажется, вся эта история списана прямо из "Алисы в Стране Чудес". Антикоммунизм сделался огромным паромом, на котором место всякому. Каждый день отнимал у нас с Бетт все больше друзей и знакомых. Международный комитет во главе с Арагоном присудил мне Сталинскую премию мира, состоявшую из красивого диплома в кожаном переплете, золотой медали и чека на 25000 долларов, что весьма пригодилось, ибо жилось нам в ту пору трудно, даже домик на 94-й улице пришлось продать, переехав в крохотную квартирку на нижнем этаже. Медаль, если кому интересно, хранится в Обществе нумизматов США - я передал ее туда вскоре после получения; что же касается денег, то, учитывая сотни тысяч экземпляров, которыми выходили мои книги в СССР, не принося автору ни копейки, наверное, их можно было принять без угрызений совести. Помимо меня единственным американцем - лауреатом этой премии стал Поль Робсон. Он вполне заслужил ее.

Херстовские газеты подняли лай по поводу "московского золота"; между прочим, с этими изданиями связан один забавный эпизод, случившийся в середине сороковых годов, когда из розового я превращался в полноценного красного. Кармел Сноу, редактор "Харперс базар", попросил меня написать что-нибудь для этого журнала. Я написал, очерк напечатали, но когда один из больших людей в херстовском концерне увидел статью под названием "Терпимость" и мою подпись под ней, он, как мне рассказывали, схватился за голову: "О, Господи, да вы хоть понимаете, что старик (Уильям Рэндольф Херст) сделает, если ему попадется статья этого красного? Ноги у нас у всех из

задницы повыдергивает". Кармел Сноу ничего не знал о моей "расцветке"? Неважно - старик ничего не будет слушать. Но ведь уже отпечтаны сотни тысяч экземпляров журнального тиража! Что делать? Решили так: напечатать два экземпляра без моего материала и именно их отослать хозяину.

В остальном на премию мало кто обратил внимания, "Нью Йорк таймс" дала простое сообщение без комментариев. Премией Советы не ограничились; их представители постоянно обращались ко мне с просьбами просветить их насчет Америки и происходящих в ней событий. Невежество и иллюзии их по этой части поражали воображение. О некоторых из этих людей я сейчас расскажу, но сначала считаю нужным подчеркнуть следующее: вступая на "красную тропу", мы с Бетт сразу решили, что лучшая наша защита - полная открытость. Никаких тайн, если, конечно, речь не идет об интересах других людей. Мы жили с распахнутыми настежь окнами и дверями. ФБР знало, когда мы чистим зубы и когда идем в магазин за обувью. Наш телефон прослушивался, за нами следовали по пятам, фотографировали, приходили на митинги, где я выступал, в классы, где я вел занятия, даже на домашние вечеринки пытались проникнуть. Поговаривали, что Эдгар Гувер внедрил в партию, состоявшую не более чем из 200 тысяч человек, 20 тысяч агентов.

Возвращаюсь к русским. Пример: они решили послать в Нью-Йорк Давида Ойстраха, где он должен был играть в Карнеги Холле вместе с дирижером Вильгельмом Фурхтвенглером, известным своими связями с нацистами. Ветераны войны решили пикетировать здание. Ко мне явился Жюль Трупан и заявил, что с визитом Ойстраха надо что-то делать. Мы выработали простой план: я немедленно иду в советское консульство, где меня хорошо знают, и заявляю, что, с точки зрения Национального комитета нашей партии, совместное выступление Ойстраха с Фурхтвенглером было бы ошибкой. На следующий день московский корреспондент "Нью-Йорк таймс" сообщил, что из-за тяжелой простуды Ойстраху пришлось отменить гастроли. Пикеты перед Карнеги Холлом все равно появились, но не был унижен советский музыкант.

Невежество русских касательно Америки равнялось только невежеству Вашингтона в отношении России. У меня были друзья в нью-йоркском отделении ТАСС. Как-то мне позвонил один из них и сказал, что для "Правды" нужно написать статью о южных штатах. Можно ли туда поехать без риска подвергнуться суду Линча? Русские всерьез считали (заметьте - на дворе стоял 1953 год), что на Юге линчуют каждого, кто не нравится местным властям. Я посоветовал начать с визита в "Ричмонд таймс", там

группу русских журналистов (всего их собралось ехать трое) встретят со всем гостеприимством, накормят, покажут город и вообще сделают из их приезда событие, возможно, устроят встречу с мэром и другими видными людьми города. На самом деле, добавил я, куда бы вы на Юге ни поехали, принимать будут радушно, поить и кормить до отвала, так что единственная проблема состоит в том, чтобы не слишком увлекаться, - прекрасная южная кухня в больших количествах может обернуться неприятностями. Просто переходите из редакции в редакцию, заключил я.

Вместо всего этого они арендовали "кадиллак" с пуленепробиваемыми стеклами. Засунули туда сумку-холодильник, оборудовали туалетом. Так и переезжали из штата в штат, останавливались только, чтобы заправиться да еды купить. Таков был их уровень понимания нашей страны и нашей культуры.

Еще пример: заходит ко мне какой-то второстепенный дипломат из советского посольства в Вашингтоне и заводит такую речь: "Товарищ Фаст, вот какое дело. У нас в стране очень высоко, выше других ученых, ценят агрономов. Вся наша жизнь зависит от них. Мы прямо-таки трясемся над ними. С другой стороны, мы внимательно изучаем ваш опыт по производству комбикормов и хотели бы его перенять. За этим мы и посылаем в Америку семь наших ведущих агрономов. Но мы боимся рисковать их жизнью. Не посылаем ли мы их на верную гибель?"

Я все никак не мог взять в толк, о чем речь. Наконец до меня дошло. Госдепартамент уже дал согласие на визит, но в посольстве боятся, что всех семерых кровожадная Америка разорвет на части.

- Я, как видите, жив, хоть и коммунист.

- Да, но вы живете в Нью-Йорке.

- А на прошлой неделе я выступал в Детройте, а за неделю до того - в Кливленде и Филадельфии, и, заметьте, никто не пытался разорвать меня на части. Для американцев коммунисты существуют в газетах, на телевидении, в кино - но в реальной жизни?.. Верно, страх есть, но это другое дело. Так что не беспокойтесь и можете мне поверить, ваших агрономов будут повсюду принимать с распростертыми объятьями. Куда они там собираются - в Иллинойс? В Индиану? В Айдахо? В Айову? Так вот, везде их ждет самый теплый прием.

- Не может быть. Мы ведь читаем ваши газеты. И мы видим, как власти обращаются с вами и другими коммунистами.

И никак было его не убедить, хотя, в конце концов, я оказался, конечно, прав. Агрономов принимали как дорогих

гостей, пикникам счета не было - кое-кто, наверное, еще помнит.

Еще один сюжет. Как-то в "Правде" появилась статья - ее перепечатала "Нью-Йорк таймс" - с дурацкой атакой на бейсбол. Я сказал тогдашнему завбюро ТАСС в Нью-Йорке, что ничего глупее придумать было нельзя - если и есть в Америке что святое и по-настоящему честное, так это бейсбол. Это национальная религия. Не знаю уж, зачем я взвалил эту просветительскую ношу на свои плечи; отчасти, наверное, из тщеславия, но в основном, в надежде на то, что смогу хоть что-то сделать, чтобы развеять всеобщее помрачение умов. Я говорил с русскими, русские говорили со мной; но создавалось впечатление, что в эти безумные годы никто никого не слушал, разве что дипломатическими улыбками обменивались. Узнав, что Советы отказали во въездной визе Элеоноре Рузвельт, женщине, которую я боготворил и считал воплощением американской демократии и порядочности, я пошел в советское консульство в Нью-Йорке и, не выбирая слов, сказал генконсулу все, что об этом думаю.

...13 января 1953 года в газетах появилось сообщение о девяти врачах, покушавшихся на жизнь советских руководителей. Со ссылкой на советское радио сообщалось, что в результате заведомо неправильного лечения погибли Жданов в 1948 и Щербаков - в 1945 году. Замышлялось также убийство Сталина. На следующий день после публикации мне позвонил Якоб Ауслендер и пригласил пообедать с ним. В свое время нас вместе судили по делу Испанского комитета беженцев, но отбывали мы наказание в разных тюрьмах. После выхода на свободу мы встречались, хотя и нечасто. Я относился к нему с большим уважением. Уроженец Вены, он переехал в США в 20-е годы и получил медицинское образование на Среднем Западе. Сейчас этому славному, неизменно обходительному человеку было за пятьдесят. При встрече он выглядел очень подавленным. Едва мы уселись за стол, как Ауслендер спросил, что я думаю обо всей этой истории с советскими врачами. Я ответил, что весьма обеспокоен.

- Это ложь, - твердо заявил он. - Гнусная выдумка. А вам известно, что все они евреи и что их обвиняют в участии в сионистском заговоре?

- Слышал.

- И вы верите в это?

- Не знаю, что и думать. Звучит дико - девять врачей, все евреи, произошло все в сороковые годы, а разоблачили их только сейчас. Абсурд какой-то.

- Все это чушь, - уверенно повторил Ауслендер, все больше возбуждаясь. - Врачи на такое не способны. Один - еще куда ни

шло, но девять... Нет, этого просто не может быть.

Я вспомнил свою парижскую миссию. До того я рассказывал о ней только Бетт, ну и, естественно, Новику и Шуллеру. Теперь передал содержание своего разговора с Фадеевым Ауслендеру.

- О, Господи, почему же вы не написали об этом?

- Потому что партия попросила меня этого не делать. - Я понятия не имел, является ли доктор Ауслендер членом партии. Предполагал, что является, поскольку он решительно отказался сотрудничать с Комитетом по антиамериканской деятельности, за что и поплатился тюрьмой. Впрочем, никогда не спрашивал, не спросил и теперь.

- Партия? О, Господи, да о чем вы?!

- Вам известно, что я коммунист и не могу писать без согласия партии. Я говорил с Фадеевым как дисциплинированный член партии...

- Дисциплина! Дисциплина! Да вы сами себя послушайте. Ведь происходит нечто чудовщное, даже подумать страшно. Девять врачей-евреев обвиняются в заговоре против коммунистических лидеров. Я врач. Я еврей. Я давал клятву Гиппократа. И даже если бы у меня под ножом лежал сам Адольф Гитлер, я бы выполнил долг врача. Неужели вы сами не видите, что это асбурд?

Может, и впрямь не вижу? Не вижу, потому что не с чужих слов знаю, какие помои льют дома на нашу партию, и знаю, что все это сплошная ложь и антисоветская пропаганда. Я знаю, что мы и кто мы - честные и неподкупные люди, только руководят нами твердолобые дураки. А мы, увы, послушно следуем за ними. Но преступлений мы не совершали. Да, твердолобость, глупость, негибкость - за это и мы ответственность разделяем; но жесткость, но предательство чужих интересов - никогда. Мы ведь боролись за организованное рабочее движение, за профсоюзы, за увеличение зарплаты, за интересы бедных, а в Испании умирали, лишь бы не прошел фашизм.

- Все, что говорят русские, - печально продолжал Ауслендер, - мы всегда принимали за истину в последней инстанции. А это не так. И быть может, то, что здесь говорят о Советах их ненавистники, - правда.

- С этим я согласиться не могу.

- А почему? Потому что они построили социализм? За это нужно прощать им все и видеть в них чудотворцев? Позвольте мне рассказать вам одну историю, Говард, может, это окажется небесполезным. В 1933 году мой университесткий однокашник Луис Миллер стал посылать в Россию медицинскую литературу, прежде всего - периодику. Посылал на имя директора одной

больницы в Москве, своего доброго знакомого. И так в течение 14 лет, из месяца в месяц. Представляете, во что это ему обошлось на круг? Одни только почтовые расходы - тысячи долларов. И вот Луис едет после окончания войны в Москву, встречается со своим другом, тот ведет его в какое-то помещение и со слезами на глазах показывает кипы нераспечатанных коробок. Оказывается, не нашли смелого переводчика. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что все это наша фантазия, что мы просто придумали красивую сказку: вчера - рабочий или крестьянин, сегодня - вождь. Ничего подобного. Вся эта чертова партия - сплошное мошенничество; мы сами вбили себе это в голову и приняли за правду. И что получается? Сегодня они просто повторяют Гитлера.

Разумеется, все это не стенографический отчет, но суть разговора я передаю верно. Вернувшись домой, я пересказал его Бетт.

- Ну, и что ты обо всем этом думаешь? - спросила она.

- Не знаю.

- Может, Сталин сошел с ума?

- Может, он всегда был безумцем. Да и большинство правителей - разве не безумцы? Прочитай "Жизнеописания" Плутарха. У него там все сумасшедшие. И Наполеон сумасшедший - по крайней мере, у Толстого. Гитлер тоже был сумасшедшим...

- Ну и что все это доказывает?

- Не знаю. Годами я убеждал себя, что дело не в Сталине и не Джине Дэннисе - мы за веру сражаемся.

- Но для этого вовсе не обязательно быть коммунистом.

- Да, но это - люди, которых я люблю. Это порядочные, отважные люди.

- Естественно, - горько усмехнулась Бетт. - Ведь всех остальных, не-коммунистов, мы от себя оттолкнули.

- Ты хочешь, чтобы я вышел из партии?

- А какое это имеет значение - хочу, не хочу. Ты же все равно этого не сделаешь, верно?

Она права. Не сделаю. Я ведь герой. Ведущий поэт испаноязычного мира пишет оду в мою честь. Я Говард Фаст, белоснежный, незапятнанный - что там еще о героях говорят? Мое имя известно в мире, мои книги читают все, а это кое-что да значит для мальчишки с улицы, которому мать, умирая, сказала: "Будь умницей, Говард". Миропонимание, даже самое поверхностное, дается труднее, чем древнегреческий; и вот, часами не поднимаясь с места, не говоря ни слова, испытывая мучительные головные боли, я пытался понять человека по имени

Говард Фаст, а заодно и кое-что другое. И что же это Господь так распорядился, что познание дается только ценою страдания?

Через два месяца умер Иосиф Сталин. Земля к земле, прах к праху и, слава богу, бессмертных нет.

Излагая историю своей жизни, я стараюсь не становиться в позицию судьи, или прокурора, или адвоката. Хотя, конечно, вовсе оценок не избежать. Коммунистом я стал по чистоте и невинности сердца. Это не оправдание и не попытка уйти от ответа, это просто констатация факта. Среди моих товарищей по партии не было ни одного, кто бы, как я, на собственной шкуре познал нищету. Я вырос на улице и перенял такие повадки, без которых бедным не выжить. К тринадцати годам я знал, кто такие "легавые" и кто такие проститутки, я умел постоять за себя, на бегу крал газеты в киоске, жульничал в дворовых играх, словом - выживал. Но это был мир проклятых, а есть люди, которые жизни не щадят, чтобы покончить с проклятьем. Это коммунисты, и, вступая в Коммунистическую партию, я вступал в компанию хороших людей.

Нет изначально добрых, нет изначально дурных, есть грязь и несправедливость, и главное - не обижать других. Быть человеком - дело непростое и запутанное; быть пастырем - еще труднее, а мы, как я уже говорил, ощущали себя пастырями. Дело осложнялось еще и тем, что человеческого братства, о котором мы мечтали, на земле не существует, и когда теряешь связь с действительностью, все идет наперекосяк.

С тяжелым сердцем я отправился к Шуллеру и Новику, и пересказал им свой разговор с Ауслендером.

- Ну, и что хорошего, если ты на весь мир раструбишь, что в Советском Союзе процветает антисемитизм? - осведомился Новик.

- Но ведь это правда, а люди должны знать правду. Это важно. Антисемитизм - дрожжи ненависти и убийства. А социализм тут вообще ни при чем.

- Но Россия - социалистическая страна. Единственная в мире социалистическая страна. Это тоже важно.

- Что же, в таком случае мы имеем социалистический антисемитизм.

По-моему, тут-то Шуллер и сказал, что я перфекционист и романтик. Насчет этого не знаю, но что правда, то правда: в те годы я был моралистом - грех, от которого впоследствии избавился. Однако наше руководство-то обвиняло меня совсем в другом. Мои товарищи - художники, артисты, литераторы - так и не примирились с пактом Сталин - Гитлер, но Лионель Берман любые сомнения рассеивал историей о Пите. Пит, итальянец по

происхождению, рабочий, человек могучего телосложения, был вожаком коммунистов в Чикаго. Человек это был немудрящий и, когда товарищи, смущенные пактом и сталинским вторжением в Польшу и страны Балтии, пришли к нему с вопросами, он расстелил на столе карту мира и сказал: "Смотрите, на всем этом гнусном свете только одно красное пятно; и если оно становится больше, у Пита никаких возражений не имеется".

Боюсь, все не так просто. Когда все наше руководство оказалось в тюрьме, партию возглавил черный и, провозгласив поход против "белого шовинизма", установил в ней еще более отвратительную тиранию, чем была раньше. Любой черный член партии получил возможность обвинить любого белого в шовинизме, и тому грозило исключение.

Как-то к нам с Бетт зашла одна славная негритянка и пожаловалась, что некий тип склоняет ее к сожительству, а при отказе грозит выбросить из партии.

- Ну и пошли его куда подальше, - посоветовал я.

- Так он пристает.

- А ты не обращай внимания.

Эта женщина любила партию. Именно в партии она познакомилась с белыми, которые относились к ней, как к белой, или, как если бы они сами были черными. Она обрела любовь и вырвалась из гетто. Но встретились ей и мерзавцы. Я все рассказал Лионелю Берману, и он отклкнулся так: "Что ж, бывает. Бывает везде. В том числе, и в партии".

Но я был наивным человеком. Меня не устраивала подобная постановка вопроса: "бывает". Не должно быть, и если какой-то ничтожный деятель требует от рядового члена коммунистической или любой иной организации переспать с ним под угрозой исключения, значит, в этой организации что-то прогнило. Власти клеветали на нас, утверждая, что мы послушные марионетки в руках Советского Союза или что мы стремимся силой свергнутть существующий строй, но была вещь, которую не могли понять ни Эдгар Гувер, ни Джо Маккарти, даже помыслить о ней не могли, ибо и сами были отравлены тем же ядом - ГНИЛЬ ВЛАСТИ.

В моей жизни наступили тяжелые времена. Со смертью Сталина открылись шлюзы, которые уже никогда не закроются. К тому времени я переехал в Тинек, пригород Нью-Йорка, и связь с партией поддерживал только через "Дейли уоркер", в состав редколлегии которой согласился войти после долгих лет сотрудничества. Несмотря на постоянные стычки с людьми, руководившими газетой, я любил ее и уважал. Ее неизменно обвиняли в лизоблюдстве перед Советами, но на самом деле это была самая независимая и самая мужественная газета в Америке.

Русских мы никогда ни о чем не просили и ничего от них не получали. Но поскольку мы были коммунистами, вышло так, что их грехи и их преступления стали нашими грехами и преступлениями. И это справедливо - мы всегда вставали на их сторону и жили безумными иллюзиями на их счет. Мы боготворили их; мы приписывали им добродетели, которых у них не было.

Сталин умер, и все изменилось. Можно сколько угодно твердить, что он безумец, это не помогает. В последние месяцы своего пребывании в партии я перечитал две книги - Светониеву "Жизнь 12 цезарей" и "Жизнеописания" Плутарха. В той и другой есть аллюзии с жизнью и деятельностью Сталина. Та и другая укрепили меня в мысли, что герои их - сумасшедшие. Я перечитал Фрейда и других, писавших о паранойе, и пришел к убеждению, с которым, наверное, многие не согласятся: за малыми исключениями, правители наций, сект, профсоюзов, компартий и десятков иных организаций - люди с отклонениями в психике.

Но все это, повторяю, не объясняет полностью безграничной, невообразимой жестокости Сталина, хотя бы частично вина ложится и на организацию, которая выдала ему мандат. Если бы в послевоенной Америке нашелся хоть один институт, у которого достало бы мужества и мудрости противостоять террору Гувера и Маккарти, компартия, вероятно, была бы другой.

Тем не менее, Америка не Россия, американские коммунисты не русские коммунисты, а "Дейли уоркер" не "Правда". Истина мало-помалу выходила наружу, и мы больше не закрывали на нее глаза.

Жили мы с Бетт в ту пору анахоретами. Раньше я проклинал политическое невежество американцев, теперь благословлял его. За исключением самых просвещенных учителей, никто в местной школе не связывал Рейчел и Джонатана со зловещей фигурой Говарда Фаста - если вообще кто-нибудь слышал о таком, разве что имя на корешке книги в школьной библиотеке попадалось.

Теперь пресса утратила всякий интерес к левым и борьбе с ними, что давало ощущение покоя, на который я прежде и не рассчитывал. Бетт нашла вполне приличную работу модельера в одном нью-йоркском ателье, я продолжал заниматься своим безнадежным издательским бизнесом. Правда, за детей мы по-прежнему опасались, я даже спать ложился, кладя для надежности под подушку бейсбольную биту. Воспользоваться, правда, ею, к счастью, не пришлось.

Все так, однако же пребывал я в полном душевном раздрае. Нельзя отнимать у человека право заниматься любимым делом, а у меня, как и у сотен учителей, актеров, музыкантов, писателей,

его отняли. Не говорю уж о рабочих, которые, угодив в черные списки, оказались на грани нищеты. Своим опытом я подтвердил правоту Марка Твена: писатель, который хочет стать издателем, - идиот, а не писатель. Короче, я потерял все, что вложил в это дело.

Лидеры компартии, оказавшиеся в 1950 году в тюрьме, вышли на свободу, и Джон Гейтс, самый из них независимый и предприимчивый, вновь стал редактором "Дейли уоркер". Именно тогда я и вошел в редколлегию. И именно тогда в компартии произошел раскол: на одном полюсе оказался Билл, на другом Уильям Фостер, которому исполнилось уже 75.

Поскольку эта книга - не история компартии США, в исторические подробности входить не буду, хотя истоки нынешнего размежевания уходят в прошлое. Уильям Фостер, Бен Дэвис и Джин Дэннис придерживались жесткой ленинской доктрины, строили партию, опираясь на теорию и не считаясь с реальной ситуацией в стране, партию, где царит железная дисциплина, - по модели советской компартии. Всякую критику в адрес Советского Союза они отвергали. Оппозиция во главе с Гейтсом утверждала, что русские совершили тяжелые ошибки, за которые их надо критиковать, что жесткая ленинская модель не подходит для Америки и препятствует развитию американского левого движения, изолирует партию, ставит ее на грань исчезновения.

Конечно, это только схема.

Вернувшийся из Советского Союза Хайм Шуллер рассказывал мне леденящие кровь истории о том, что там не только евреев преследуют - без суда пытают и убивают людей всех национальностей. И все это под благословенной сенью Иосифа Сталина. В своих комментариях для "Дейли уоркер" я осторожно задевал эту тему, хотя Шуллер просил на него не ссылаться. Коллеги меня поддерживали, а Фостер с Дэннисом, напротив, ярились. Будь я один, они меня с удовольствием выкинули бы из партии, но за мной была газета.

Мои знакомые русские вели себя загадочно. Как-то мы обедали в Нью-Йорке с корреспондентом ТАСС. Он только что вернулся из России и рассказывал мне, что впервые в жизни ходил по московским улицам без страха.

- Ничего подобного раньше я от вас не слышал, - заметил я.

- Так это же моя страна.

- В советском консульстве устроили прием - последний, на который пригласили нас с Бетт. Я заговорил о том, что узнал от Шуллера, и услышал от знакомого дипломата: "Неужели вы думаете, что Сталин убивал главным образом евреев?" Я

настолько растерялся, что даже не нашелся, что ответить.

На редакционном совещании Джо Кларк, московский корреспондент "Дейли уоркер", заявил Гейтсу, что если бы его, главного редактора американской коммунистической газеты, застали в Москве читающим "Нью-Йорк таймс", ему грозило бы 10 лет тюрьмы. Впрочем, и Запад недалеко ушел от Востока, Гейтс ни за что просидел пять лет в демократических Соединенных Штатах. "Ну, если Фостер возьмет верх, - обратился я к обоим, - то может ли кто поручиться, что всех нас просто не расстреляют?"

Я получил открытку от Шона О' Кейси: "Не верьте мерзавцам", - он имел в виду тех, кто нападает на Советский Союз. Легко быть революционером в Ирландии.

Нет, не могу примириться. Отнять у человека жизнь - самое гнусное, самое непростительное зло. Этому меня научила война. Этому меня научила тюрьма, где я слышал по ночам молитвы приговоренных к смерти. Думаю, там я стал пацифистом. Я и сейчас пацифист. Пусть Шон О' Кейси опьяняется мечтами о всеобщем братстве. Я больше не могу. Много лет назад Фадеев отверг всяческие обвинения в антисемитизме. Но теперь-то нам точно известно, что в 1948 году были закрыты еврейские газеты и организации, убиты Михоэлс и Ицек Фефер, что развернулся настоящий крестовый поход против евреев - не в Германии, в Советском Союзе!

Мы, у себя в газете, не молчали. Мы требовали от Советов объяснений. Впервые за всю историю компартии США мы пытались добиться от русских правды, в том числе о казнях в Чехословакии и Венгрии. Джон Гейтс вел себя смело, он публиковал сотни читательских писем от людей, которые отдали лучшие годы нашей организации, все еще клявшейся в верности Советскому Союзу. А потом Хрущев прочитал на XX съезде свой закрытый доклад. Прессы не было, и вообще в зале, кроме делегатов, присутствовало всего несколько особо доверенных гостей. Выяснилось, что насчет одного из них, венгра, русские просчитались: он каким-то образом - каким, точно не знаю - снесся с Госдепартаментом и, поторговавшись, продал копию доклада Хрущева. Там документ тщательно изучили, проверили по другим источникам и пришли к выводу, что это не фальшивка. Затем - прошло, впрочем, несколько месяцев - Госдепартамент передал доклад в "Нью-Йорк таймс". Это было в начале июня 1956 года. Оттуда связались с Джо Гейтсом.

- Слушайте, тут у нас один документ имеется, на наш, как и Госдепа, взгляд, все чисто, никакой липы, и перевод точный. Если хотите, подошлем - можете печатать в тот же день, что и мы.

"Дейли уоркер" оказалась тогда единственной

коммунистической газетой в мире, которая опубликовала секретный доклад XX съезду КПСС. Правда, для этого нам пришлось преодолеть яростное сопротивление фостеровской группы, которая по-прежнему стремилась удержать партию, вернее, то, что от нее осталось, в узде. Через несколько месяцев эта группа одержала окончательную победу, и "Дейли уоркер", газета, которая без единого пропуска выходила на протяжении 32 лет, прекратила свое существование.

Все приходит к концу. Эта газета была важной частью моей жизни. И вот 13 июня 1956 года, через два дня после публикации хрущевского доклада, я написал свой последний комментарий в номер. Он дался мне с кровью. Кто я такой, чтобы судить, чтобы учить? Я пробуждался, я переходил из мира мечты в мир реальности. Принеся комментарий в редакцию, я дождался, пока Джо прочтет его.

- Будешь печатать?

- Естественно.

- Учти, это последний.

- Многие пытались меня отговорить, но не настаивали. Слишком хорошо мы знали друг друга, так что и Джо, и все остальные понимали, что я переживал в тот момент.

- А партия?

- С ней тоже покончено.

Друзья спросили, собираюсь ли я сделать официальное заявление, я сказал - нет. Публичности никакой мне не нужно, она ничем не лучше гнусной лжи, что окружала имя Говарда Фаста. Похоже, для меня вообще все кончено. Я давно перестал писать и в каком-то смысле - жить. Так что теперь хотелось просто отдохнуть, подумать, попытаться собрать воедино осколки своего мира, остаться наедине с женой и детьми.

В своей книге "История американского коммуниста" (1958) Гейтс вспоминает: "Одним из пошатнувшихся в вере оказался Говард Фаст, единственная серьезная литературная величина в компартии. Это был противоречивый человек. Добившись еще до вступления в партию оглушительной популярности, он стал объектом бойкота за свои политические воззрения. Многие в коммунистическом движении ему поклонялись, многих он отвращал... За свои принципы он поплатился тюрьмой. Фасту до всего было дело; он получил Сталинскую премию, он грудью вставал на защиту коммунистов и, не думая о последствиях, нападал на капиталистов. Его на редкость нервная реакция на хрущевский доклад неожиданностью для меня не стала; не знаю никого, кто воспринял его столь же болезненно.

Рассказав Дэннису и другим руководителям партии о

кризисе, переживаемом Фастом, я умолял поговорить с ним. Но за вычетом нескольких друзей из редакции "Дейли уоркер", никто и шага не сделал, чтобы найти общий язык с писателем общенационального, а может, и мирового масштаба. Потом, когда стало известно о выходе Фаста из компартии и он объяснил причины этого, на него набросились, как стая шакалов, и подвергли тому самому моральному уничтожению, орудие которого вожаки компартии всегда прибергают для отступников".

Впрочем, тогда мне было совершенно все равно, что обо мне думают вожаки компартии - а равно большая американская пресса. Мы с Бетт уединились в провинции, чтобы у детей было убежище на случай, если нас арестуют в соответствии с Актом по контролю за коммунистами. Знакомым мы дали только телефон моего крохотного издательства, существование которого оплачивалось в основном из собственного кармана. Время шло. Жил я тихо, почти ничем не занимался. Летом мы отправили детей в школьный лагерь, а сами сели в машину, доехали до какого-то местечка в Адирондакских горах и впервые за последние десять лет по-настоящему отдохнули. Мы плавали, катались на лодке, вечерами ходили слушать музыку. Этот отдых практически съел остатки наших денег.

В октябре того же 1956 года произошла странная история. Я получил письмо из советского посольства, в котором говорилось, что Советский Союз намеревается перевести мне 600.000 долларов в счет авторского гонорара. Может, русские не знают, что я вышел из партии? Или это грандиозная подачка, чтобы заставить меня вернуться?

Несколько человек, к которым я обратился за советом, высказались в том роде, что я честно заработал эти деньги за безгонорарные издания моих книг, так что пусть платят. Но Бетт придерживалась другого мнения, и я должен был согласиться, что она права. Взять деньги - значит принять обет молчания и признать себя кому-то и чем-то обязанным, а от этого я теперь зарекся. Все, больше никакой дисциплины, никаких обязательств. И потом, откуда знать, что мне действительно причитается именно такая сумма, ведь отчета о продажах нет. Конечно, у нас слюнки текли при одной мысли о таком богатстве, тем более, что на счету - гроши. Сейчас я вспоминаю эту историю со смехом. Каков жест! 600000 долларов ни за что, ни про что! В письме также сообщалось, что в Москве только что тиражом в 300000 экземпляров отпечатано новое издание "Спартака" (дошло ли оно до книжных магазинов, я так и не узнал). Я написал в посольство, что вышел из компартии и в дальнейшем намереваюсь писать о Советском Союзе в соответствии с собственными взглядами.

"Гонорар" так и не поступил. Впрочем, я все равно вернул бы деньги. Их обещали прислать в феврале 1957 года, но еще до этого мой выход из компартии стал достоянием гласности.

Журнал "Форчун" готовил статью о коммунистическом движении в Америке, и мне позвонили с просьбой об интервью. Я ответил, что в партии больше не состою, но интервью дать готов. Ничего из этого не вышло, однако же статья в январском номере журнала появилась, и в ней было сказано о том, что из партии я вышел. Вскоре мне позвонил редактор "Нью-Йорк таймс" Гарри Шварц и поинтересовался, соответствует ли это сообщение действительности. Я подтвердил. Тогда он спросил, понимаю ли я, что это мировая сенсация. Я сказал, что так не думаю, и вообще, учитывая все, что происходит в мире, мне наплевать. Тем не менее, он уговорил меня сделать короткое заявление, на следующий день оно появилось на первой полосе газеты. Теперь миру стало все известно, хотя не уверен, что это имело такое уж значение.

Билл Фостер как-то сказал мне, что за 30 (к тому времени) лет существования через компартию США прошло 600 тысяч человек - большинство из них спустя то или иное время из нее вышли. К концу Второй мировой войны в партии, вместе с Союзом молодежи, насчитывалось 100 тысяч членов. К моменту моего выхода эта цифра сократилась в пять раз, а на следующий год партия и вовсе практически перестала действовать.

С появлением в "Нью-Йорк таймс" (номер от 1 февраля 1957 года) заявления о выходе из компартии, кончилась какая-то часть моей жизни; и вместе со злобными нападками со стороны руководителей компартии США - только кем они в это время руководили? - потоки клеветы и ненависти обрушились на меня и из Советского Союза, в основном со страниц "Литературной газеты". Те самые критики, которые вчера еще превозносили меня как крупнейшего писателя западного мира, сегодня смешивали с грязью. Это было вполне сопоставимо с деятельностью их западных коллег в минувшие 12 лет. С этого времени книги Говарда Фаста в СССР больше не публиковались.

За четыре года до того, как пишутся эти строки, один советский журналист сказал мне в Нью-Йорке: "Знаете что, Фаст, мы не нацисты, книги у нас не жгут. И не думайте, пожалуйста, что ваши книги пошли под нож. Моя жена школьная учительница. Она рекомендует своим ученикам ваши книги. Так что знайте - в Советском Союзе вас читают. Новое поколение читает".

Такие дела. Что сказать под конец? Жалею ли я о годах, отданных компартии? Но что значит "жалею"? А случись, повторил бы снова тот же путь? И этот вопрос не имеет смысла.

Второго раза не бывает. Время прошло, и большинство людей того времени умерли. Мы вообще не слишком живучее поколение, жизнь свою и энергию мы расходовали вовсю. Я видел в партии тщеславие, ненависть, твердолобость; но видел и достоинство, и честь, и большое мужество. И встречал благороднейших людей - пусть, кто хочет, кривится. Но сказать это я должен. Потому что, чего стоит человек, который топчет тех, с кем стоял на баррикадах?

Я старался быть честным, но когда пишешь о прошлом, обращаешься ко времени, которого уже нет; даже в памяти тех, кто прошел через него, оно уже другое, а в будущем, когда новые поколения станут по-своему переписывать историю, оно изменится еще больше. К тому же описал я лишь малую часть того, что мог бы описать.

Я вступил в партию, когда меня считали одним из самых значительных американских писателей. Вышел (мне был тогда 41 год) человеком, чье прошлое покрылось завесой забвения, человеком, которому не давали печататься, на которого клеветали и забрасывали грязью, как никакого другого писателя в американской истории. Тоже отличие.

Мне удалось при жизни стать свидетелем возникновения новой Америки и нового Советского Союза, и мир стал реальной возможностью не только для двух сверхдержав, но для всех стран. Быть может, и наша борьба хоть немного этому способствовала, как способствовала она улучшению жизни бедняков и трудового люда в Америке.

Через несколько лет после моего выхода из компартии мы с Бетт получили паспорта - эпоха террора и безумия клонилась к закату - и отправились в Европу. Океан мы решили пересечь на старушке "Куин Мэри", все такой же прекрасной, как прежде. В это время многие отправлялись в Европу морем. Незадолго до того у меня купили права на постановку фильма, так что можно было себе позволить путешествовать первым классом. Нашим соседом за столом оказался забавный господин - врач, чье имя я, к сожалению, запамятовал. В разговоре он сыпал десятками имен и, видно, действительно был знаком со множеством известных людей. На третий день путешествия, за завтраком, он поведал, что среди наших спутников есть и делегаты только что закончившейся сессии ассамблеи ООН, что посол Нигерии дает прием в честь советской делегации и приглшает нас с женой.

Прекрасно, но невозможно, о чем я и сообщил новому знакомцу. В Советском Союзе я больше не существую. Вычеркнут из списка живущих. По словам журналистов, даже в сопровождении уничижительных эпитетов мое имя больше не

звучит в стране, где книги Фаста некогда были настольными.

- Да, но не русские же дают прием, а нигерийцы. Посол читал "Дорогу свободы". Узнав, что вы с женой здесь, он пришел в небыкновенное возбуждение. Очень просит вас быть. Если откажетесь, это прозвучит как вызов. А насчет русских не беспокойтесь, они умеют себя вести. Все будет в порядке, уверяю вас.

Короче, мы с Бетт должным образом оделись и отправились на прием. Нас встретил посол, высокий, благообразный мужчина, оказавшийся безупречным хозяином. Он предствил нас советским послам - в Вашингтоне и в ООН. Те поклонились с ледяной вежливостью. Нигерийцы нас всячески обхаживали, русские сторонились. Впрочем, к этому мы были готовы. Иное дело, что как ни просторна гостиная в посольском люксе, это корабль, и когда в одном помещенеии собираются порядка 30 человек, встреч не избежать, вот русские с женами и улыбались глуповато, и кивали головами. Все это походило на телевизионную комедию.

Каждый вечер после ужина мы с Бетт полчаса гуляли по палубе. В ту пору трансатлантические рейсы не считались круизами или отдыхом на воде. Корабль - средство передвижения, удобный путь в Европу и из Европы, и одним из самых больших удовольствий как раз и были такие вечерние прогулки. Во время одной из них - а палуба длинная, идешь себе и идешь, - меня остановил посол Федоренко и, извинившись перед Бетт, спросил, нельзя ли нам потолковать наедине. Бетт вежливо сослалась на то, что и так собиралась в каюту, и оставила нас вдвоем. Прохаживаясь взад-вперед по палубе, мы проговорили почти час. Федоренко начал с извинений за холодную встречу на нигерийском приеме. Анлийский его был безупречен.

- Просто мы не были готовы к такой встрече, - пояснил он.

Я принял извинения, и он заговорил о компартии США. Что с ней происходит?

- Вы что, хотите сказать, что ничего не знаете до сих пор?

- Вот именно. Мы читали вас, мы читали Джона Гейтса, но этого недостаточно. Там нет чего-то главного. В Германии Гитлер просто уничтожил коммунистов физически. Но ведь в Америке этого нет.

- Нет, - согласился я. - Видите ли, господин Федоренко, у нас есть сказка о Джесси Пиме, убийце-дурачке. Когда кто-нибудь умирает по собственной глупости, мы говорим, что он стал жертвой Джесси Пима. Именно это с нами и случилось. Мы стали жертвой Джесси Пима.

Таким объяснением Федоренко не удовлетворился, и разговор продолжился. Человек это был далеко не глупый, с

острым чутьем, так что мои попытки растолковать природу американского общества он воспринимал достаточно живо. Так, его ужаснул рассказ о корреспондентах ТАСС, познающих Америку из салона лимузина с пуленепробиваемыми стеклами.

Наконец, я изнемог и сказал:

- Пожалуй, мне пора, а то жена решит чего доброго, что я свалился за борт. Вы забросали меня вопросами. Можно и мне один на прощанье?

- Разумеется.

- Объясните мне, господин посол, почему, когда у вас с Китаем была полная возможность обеспечить мир на земле, вы рассорились?

А надо сказать, что перед тем, как перейти на дипломатическое поприще, Федоренко профессионально занимался китаистикой.

Его ответ я не забуду до конца дней своих.

- Фаст, - сказал он, - почему вы считаете, что люди, которые управляют моей страной, умнее тех, что управляют вашей?

На этом месте можно поставить точку.

notes

Примечания

1

Спектакль по этому роману в свое время с большим успехом шел на сцене московского Театра им. Маяковского. *(Примеч. перев.)*